
Или теперь Борхес занимает место Данте, Шекспира, Сервантеса и Джойса нашей эпохи.
Хорхе Луис Борхес
Алеф
PREMIUM

Алеф
Хорхе Луис Борхес

Аннотация
Хорхе Луис Борхес. Алеф
Бессмертный. Перевод Л. Синянской
Мертвый. Перевод К. Корконосенко
Богословы. Перевод Е. Лысенко
История воина и пленницы. Перевод Б. Дубина
Биография Тадео Исидоро Круса. (1829–1874). Перевод Л. Синянской
Эмма Цунц. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Дом Астерия. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Вторая смерть. Перевод А. Рейтблата
Deutsches Requiem. Перевод Б. Дубина
Поиски Аверроэса. Перевод Е. Лысенко
Заир. Перевод Л. Синянской
Письмена Бога. Перевод Ю. Стефанова
Абенхакан Эль-Бохари,. погибший в своем лабиринте. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Два царя и два их лабиринта. Перевод Б. Дубина
Ожидание. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Человек на пороге. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Алеф. Перевод Е. Лысенко

Послесловие. Перевод В. Правосудова

Аннотация

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого.

В настоящее издание полностью вошел авторский сборник «Алеф», собрание вымышленных историй, которое принесло аргентинскому писателю мировую известность.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Хорхе Луис Борхес
Алеф

Азбука
PREMIUM
Серия «Азбука Premium»

Jorge Luis Borges
EL ALEPH
Copyright © 1995, María Kodama
All rights reserved

Перевод с испанского Бориса Дубина, Кирилла Корконосенко, Валентины Кулагиной-Ярцевой, Евгении Лысенко, Владимира Правосудова, Абрама Рейтблата, Людмилы Синянской, Юрия Стефанова
Серийное оформление и оформление обложки Вадима Пожидаева

© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2021
© К. С. Корконосенко, перевод, 2021
© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2000
© Е. М. Лысенко (наследник), перевод, 2021
© В. В. Правосудов, перевод, 2000
© А. И. Рейтблат, перевод, 1992
© Л. П. Синянская (наследники), перевод, 2021
© Ю. Н. Стефанов (наследники), перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

* * *

Бессмертный[1]
Перевод Л. Синянской

Сесилии Инхеньерос[2]

Solomon saith: «There is no new thing upon the earth». So that as Plato had an imagination, «that all knowledge was but remembrance»; so Solomon giveth his sentence, «that all novelty is but oblivion».

Francis Bacon. Essays, LVIII [3]

В Лондоне, в июне 1929 года, антиквар Жозеф Картафил[4] из Смирны[5] предложил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715–1720) форматом в малую четверть. Княгиня приобрела

---

[1] Примечания: 1

Первоначальное заглавие — «Бессмертные». *(прим. Б. Дубин)*

[2] Примечания: 2

Сесилия Инхеньерос — знакомая Борхеса, дочь аргентинского мыслителя и публициста Хосе Инхеньероса и сестра Делии Инхеньерос, соавтора Борхеса по книге «Древние германские литературы» (1951); она подсказала писателю сюжет рассказа «Эмма Цунц» (см. ниже). *(прим. Б. Дубин)*

[3] Примечания: 3

Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домыслил: «Всякое знание есть не что иное, как воспоминание»; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое. — *Фрэнсис Бэкон. Опыты, LVIII (англ.).*

[4] Примечания: 4

Картафил (Эспера-Диос, Иоанн Бутадеус и др.) — одно из имен Агасфера, Вечного Жида, героя легенд европейского Средневековья («Хроника» Матвея Парижского и др.). По сообщениям середины XIII в., он покаялся в том, что некогда отринул Христа, и принял имя Иосиф. Истории о нем упоминает Томас Браун («Pseudodoxia epidemica», VII, 17, 5), их сводят воедино А. Ярмолинский (книга «Легенда о Вечном Жиде») и Г. Аполлинер (новелла «Пражский прохожий»). *(прим. Б. Дубин)*

[5] Примечания: 5

Смирна, Иос — места, претендовавшие на право считаться родиной Гомера. *(прим. Б. Дубин)*

книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица. Столь же легко, сколь и неправильно, он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он перешел на французский, потом — на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него — на португальский язык Макао. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса», что Картафил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод.

I

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Стоватых Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Бере-

нике[6], у самого Красного моря; многие из тех, кто горел желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены; земли, ранее занятые мятежными городами, навечно стали владением Плутона; и тщетно поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии; меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы, я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня, не дал удачи, и я, должно быть, с горя отправился через страшные безбрежные пустыни на поиски потаенного Города Бессмертных.

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал — всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся; рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река эта — Египет и питается она дождями. «Другую реку ищу я, — печально отозвался он, — потаенную реку, что смывает с людей смерть».

[6] Примечания: 6

Береника — торговый город на побережье Красного моря. *(прим. Б. Дубин)*

Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго; кто-то — вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Гетулии[7], дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

---

[7] Примечания: 7

Гетулия — область на северо-западе Африки. *(прим. Б. Дубин)*

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиное[8] и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов[9], которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну гарамантов, у которых женщины общие, а пища — львятина; земли Авгилы, где почитают только Тартар. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану, на ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь — отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обратив лицо к луне, — лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей в сосудах водой испи-

---

[8] Примечания: 8

Арсиное — египетский город в Файюме. *(прим. Б. Дубин)*

[9] Примечания: 9

Троглодиты — древний народ Северной Африки (о нем рассказывают Страбон, Геродот, Плиний); *Авгилы* (Авгила) — местность и селение на севере Африки. *(прим. Б. Дубин)*

ли безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя — бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечье. Несколько дней я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ощетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый невысокий лабиринт: в самом его центре стоял кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.

II

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише размерами не более

обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукой человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка, а на другом его берегу в лучах заходящего или восходящего солнца сверкал — то было совершенно очевидно — Город Бессмертных. Я увидел стены, арки, фронтоны и площади: Город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их: они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футах в тридцати от меня, и я со связанными за спиною руками, за-

жмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: *«Богатые жители Зелы[10], пьющие воды Эзепа…»*

Не знаю, сколько ночей и дней прокатилось надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и нагой[11], лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные, как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть — это я-то, Марк Фламиний Руф, военный трибун римского легиона, — свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчеловеков

---

[10] Примечания: 10

«Богатые жители Зелы…» — Гомер, «Илиада», II, 824–825; *Зела* (Зелия) — город в Малой Азии. *(прим. Б. Дубин)*

[11] Примечания: 11

…несчастный и нагой… — Отсылка к вергилиевской «Энеиде» (V, 871). *(прим. Б. Дубин)*

почти лишило меня сна. И, будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали: сперва я заметил, что они следят за мной; потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос — не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх, а отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными остриями. И остановился в священном ужасе. Явившийся мне Город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засы-

пая, стал ждать, когда займется день.

Я уже говорил, что Город стоял на огромной каменной скале[12]. И ее круглые склоны были так же неприступны, как и стены Города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере; внутри пещеры оказался колодец, в темень его пропасти низвергалась лестница. Я спустился по ней; пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении; в потемках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье; восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье; девятая через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов, — от тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох

[12] Примечания: 12

...Город стоял на огромной каменной скале. — Описание, несущее отпечаток визионерских гравюр Пиранези и опиумных видений Де Куинси и Колриджа, сходно с обстановкой борхесовских новелл «Смерть и буссоль» и «Дом Астерия». *(прим. Б. Дубин)*

подземного ветра, непонятно откуда взявшегося; беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему, я начал свыкаться с этим странным миром и не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверьми и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только: был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую — о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей.

В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издалека упал на меня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и астрагалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное великолепие из гранита и мрамора. И оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние Города.

Я увидел себя на маленькой площади, вернее

сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно-единственное здание неправильной формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой Земли. И подумалось, что такая старина (хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз) не иначе как дело рук Бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путаного дворца. (Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости.) *Этот дворец — творение богов, подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился: боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он необычен, сказал: построившие его боги были безумны.* И сказал — это я твердо знаю — с непонятным осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые: ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности.

Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый Город Бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осмотрел как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры-тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал; помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. *Этот Город, подумал я, ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познáет счастья и смысла существования.* Я не хочу открывать этот Город; хаос разноязыких слов, тигриная или воловья туша,

кишащая чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками, — вот что такое этот Город.

Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх: как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном Городе Бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле — так, наверное, тяжко было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда.

III

Те, кто внимательно читал рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые снятся во сне, и кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена, а потом

понял: нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивела игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение (а может, так велико и страшно было мое одиночество), и я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило, и, когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди; этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я, способны на первое; многие птицы, к примеру соловей цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум человека, он все же превышает способности существ неразумных.

Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из «Одиссеи», и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя. Но, как ни

старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно — и принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось — очень далеко. Словно маленький разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен: не может он не понимать моих намерений. И вспомнил: эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам; и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе и с другими предметами; и может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними — годы, и однажды утром произошло нечто похожее на сча-

стье. Пошел дождь, неторопливый и сильный.

Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой, как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии ко мне текла река (водам которой я некогда возвратил золотую рыбку), текла, чтобы освободить меня; лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается; я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу; под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, исступленно подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы, на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив взор в небеса; потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но (как я потом узнал) и слезы. *Аргус,* крикнул я ему, *Аргус.*

И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и забытое, Аргус сложил такие слова: *Аргус, пес Улисса.* И затем, все так же не глядя на меня: *пес, выброшенный на свалку.*

Мы легко принимаем действительность, может быть, потому, что интуитивно чувствуем: ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из «Одиссеи». Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос.

Очень мало, ответил он. Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил.

IV

Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались Бессмертными; мутный песчаный поток — той самой рекой, что искал всадник. А Город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли Бессмертные; после него начался новый этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, Бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем — ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир.

Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в

старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей[13], что не знают моря, не приправляют мясо солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в Городе Бессмертных. А когда Город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного: всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем — войну мышей и лягушек[14]. Подобно Богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом Хаос.

Жизнь Бессмертного пуста; кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя Бессмертным — божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то, как они почитают свое первое, земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные,

---

[13] Примечания: 13

…движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей… — Гомер, «Одиссея», XI, 120–130. *(прим. Б. Дубин)*

[14] Примечания: 14

…войну мышей и лягушек. — Сюжет «Батрахомиомахии», ирони-комической поэмы, приписываемой Гомеру. *(прим. Б. Дубин)*

предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана; круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующей и ни одна из них не определяет целого… Наученная опытом веков, республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравновешиваются, талант и бездарность у Бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга; и может статься, безыскусно сложенная «Песнь о моем Сиде» — необходимый противовес для одного-единственного эпитета из «Эклог»[15] или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть

[15] Примечания: 15
«Эклоги» — «Буколики» Вергилия. *(прим. Б. Дубин)*

рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие… А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они совершенно никакие. А значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних просторах времен, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь никто, и каждый Бессмертный — сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа[16]: я — бог, я — герой, я — философ, я — демон, я — весь мир, на деле же это утомительный способ сказать, что меня как такового нет.

Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на Бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал забро-

[16] Примечания: 16

Корнелий Агриппа Неттесхеймский (1486–1535) — немецкий мыслитель и естествоиспытатель. Борхес приводит слова из его труда «О ложности и тщете наук» (1531), которые цитировал в раннем эссе «О никчемности личного» (сб. «Расследования», 1925). *(прим. Б. Дубин)*

шенные каменоломни по ту сторону реки; один из Бессмертных свалился в самую глубокую; он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его; однако прошло семьдесят лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкою из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро — древнее, простейшее наслаждение: дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки; все Бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие; один, помню, никогда не поднимался даже на ноги: птица свила гнездо у него на груди.

Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравновешивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность, однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце X века мы расселились по лицу земли. Вывод, к которому мы пришли, заклю-

чается в следующем: *есть река, чьи воды дают бессмертие; а следовательно, есть на земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают.* Число рек на земле не безгранично; Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведает воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку.

Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность — невозвратимую и роковую. У Бессмертных же, напротив, всякий поступок (и всякая мысль) — лишь отголосок других, которые уже случались в затерявшемся далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященная обычаями скорбь не властны над Бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера; кажется, мы даже не простились.

V

И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту[17], не помню, на чьей стороне — не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли[18]. В седьмом веке Хиджры, по мусульманскому летосчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю Бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворике, я много играл в шахматы. В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре[19],

---

[17] Примечания: 17

…я сражался на Стэмфордском мосту… — Имеется в виду Стэмфордбриж близ Йорка, место гибели норвежского короля и скальда Харальда Хардрада. *(прим. Б. Дубин)*

[18] Примечания: 18

…шесть… футов английской земли… — Слегка измененная цитата из «Круга Земного» Снорри Стурлусона («Сага о Харальде Суровом», 91); Т. Карлейль приводит ее в своей книге «Первые короли норвежцев», а Борхес не раз повторяет в стихах и прозе. *(прим. Б. Дубин)*

[19] Примечания: 19

Коложвар — город в Венгрии, ныне Клуж (Румыния). *(прим. Б. Дубин)*

потом — в Лейпциге. В Абердине в 1714 году я выписал «Илиаду» Попа в шести томах; помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729-м мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбаттиста[20]; его доводы показались мне неопровержимыми. Четвертого октября 1921 года «Патна»[21], который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у эритрейского побережья[22]. Я сошел на берег, мне вспомнились другие утра, утра давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей; повинуясь привычке, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом: капля крови медленно выступала на ладони. Я

---

[20] Примечания: 20

Джамбаттиста — имеется в виду итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико. *(прим. Б. Дубин)*

[21] Примечания: 21

«Патна» — название судна в романе Джозефа Конрада «Лорд Джим» (1900). *(прим. Б. Дубин)*

[22] Примечания: 22

В рукописи здесь вымарка, возможно, вычеркнуто название порта.

снова смертен, повторял я, снова похож на других людей. В ту ночь я спал до самого рассвета.

Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда, однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почудилась фальшь. Возможно, виною тому — злоупотребление подробностями; такое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память… Однако полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером.

История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены Фив; Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки — Египет; ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в «Илиаде» называет Фивы Гекатомфилосом, а в «Одиссее», устами Протея и Улисса, неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески; слова эти — также из Гомера, их можно

отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем, в головоломном дворце, он говорит об осуждении, чуть ли не о «терзаниях совести»; эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня обеспокоили; другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе; там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествия Синдбада-морехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду» Попа. Там говорится inter alea[23]: «В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии». Ни одно из этих свидетельств не ложно; однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них; я это сделал, потому что знал: они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера; удивительно, что Гомер

[23] Примечания: 23
Между прочим *(лат.).*

в тринадцатом веке записывает приключения Синдбада, другого Улисса, и находит, по прошествии многих столетий, в северном царстве, где говорят на варварском языке, то, что изложено в его «Илиаде». Что касается фразы, содержащей название Биканер, то видно, что она сложена человеком, искушенным в литературе, жаждущим (как и автор перечня морских судов) блеснуть ярким словом[24].

Когда близится конец, от воспоминания не остается образа, остаются только слова[25]. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану всеми людьми — умру.

Постскриптум 1950 года. Среди комментариев,

---

[24] Примечания: 24

Эрнесто Сабато предполагает, что Джамбаттиста, обсуждавший происхождение «Илиады» с антикваром Картафилом, есть Джамбаттиста Вико; этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер — персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу.

Эрнесто Сабато (р. 1911) — аргентинский писатель, эссеист, многолетний собеседник и оппонент Борхеса (их «Диалоги» вышли книгой в 1976 г.). *(прим. Б. Дубин)*

[25] Примечания: 25

…остаются только слова. — Скрытая цитата из предисловия Джозефа Конрада к его роману «Негр с „Нарцисса“». *(прим. Б. Дубин)*

вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейски озаглавлен «A Coat of Many Colours»[26], [27] (Манчестер, 1948) и написан ядовитым пером доктора Наума Кордоверо. Труд насчитывает около ста страниц. И в нем говорится о центонах[28] из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни; поминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки, сочинение «Virgilius evangelizans»[29] Александра Росса[30], приемы Джорджа Мура и Элиота и, наконец, «повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картафилу». В первой же его главе автор обнаруживает заимствования из Плиния («Historia naturalis», V, 8); во второй — из Томаса Де Куин-

---

[26] Примечания: 26

Здесь: «Лоскутное покрывало» *(англ.).*

[27] Примечания: 27

«*A Coat of Many Colours*» — так в английской традиции со времен Библии короля Якова (1611) называется пестрая рубаха («кетонет»), которую Иаков дарит своему любимцу Иосифу и которую с него срывают задумавшие его погубить братья (Быт 37: 23). *(прим. Б. Дубин)*

[28] Примечания: 28

Центон (от *лат.* cento — одеяние из лоскутов) — стихотворение, сложенное из чужих строк; в античности материалом для центонов чаще всего служили произведения Гомера и Вергилия. Близок к этому жанр средневековых сборников «Строматы», из которых наиболее известна широко цитируемая Борхесом одноименная книга Климента Александрийского. *(прим. Б. Дубин)*

[29] Примечания: 29

«Вергилий на евангельский лад» *(лат.).*

[30] Примечания: 30

Александр Росс (1591–1654) — английский поэт-аллегорик, перелагатель Вергилия на христианский лад; его упомянутая поэма вышла в 1634 г. *(прим. Б. Дубин)*

си[31] («Writings», III, 439); в третьей — из письма Декарта послу Пьеру Шаню; в четвертой — из Бернарда Шоу («Back to Methuselah»[32], V[33]). И на основании этих заимствований, или краж, делает вывод: весь документ не что иное, как апокриф.

На мой взгляд, вывод этот неприемлем. Когда близится конец, пишет Картафил, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова, — вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками.

---

[31] Примечания: 31

…из Томаса Де Куинси… — Имеется в виду его эссе «Гомер и гомериды». *(прим. Б. Дубин)*

[32] Примечания: 32

«Назад к Мафусаилу» *(англ.).*

[33] Примечания: 33

«Back to Methuselah» (1918–1920) — драматическая притча Б. Шоу, развивающая его понимание мировой истории. *(прим. Б. Дубин)*

Мертвый[34]
Перевод К. Корконосенко

Чтобы парень из предместья Буэнос-Айреса, жалкий бахвал, не обладающий иными достоинствами, помимо спесивого сердца, добрался до пустынных пастбищ у границы с Бразилией и сделался главарем контрабандистов — такое кажется заведомо невозможным. Тем, кто так полагает, я хочу поведать о судьбе Бенхамина Ота́лоры, от которого, наверное, не осталось даже воспоминаний в квартале Бальванера и который, иначе и быть не могло, умер от пули на границе Риу-Гранди-ду-Сул. Подробностей его истории я не знаю; когда мне их откроют, я обязательно исправлю и дополню эти страницы. А пока что сгодится и короткий пересказ.

В 1891 году Бенхамину Оталоре исполнилось девятнадцать лет. Это мо́лодец с маленьким

---

[34] Примечания: 34

Борхес указывал, что на образ протагониста — анаграмму его фамилии можно найти у героя рассказа «Ульрика» (сб. «Книга песка», 1975) — повлияли роман Г. К. Честертона «Человек, который был Четвергом» и эпизод из «Упадка и разрушения…» Э. Гиббона (XXIX). В 1975 г. по новелле снят фильм аргентинского режиссера Эктора Оливеры. *(прим. Б. Дубин)*

лбом, честными светлыми глазами и с баскон-ским упрямством; один удачный ножевой выпад открыл Оталоре, что он человек отважный; его не тревожит гибель противника, как не тревожит и необходимость бежать из страны. Знакомый бандит снабжает его письмом к некоему Асеведо Бандейре[35] из Уругвая. Оталора прыгает в лодку, вокруг ночь, бушуют волны и гремит гром; на следующий день он гуляет по улицам Монтевидео в невыразимой печали, которая, наверное, непонятна и ему самому. Асеведо Бандейра ему не встретился; в одной из лавок на Пасо-дель-Молино парень становится свидетелем перепалки между погонщиками. Сверкает нож; Оталора не знает, на чьей стороне правда, но его влечет сам вкус опасности, как иных влекут карты или музыка. В общей сумятице парень на лету перехватывает удар, который один из погонщиков предназначал человеку в пончо и темной шляпе. Потом оказывается, что это и есть Асеведо Бандейра. (Узнав об этом, Оталора рвет письмо-поручительство, поскольку хочет быть обязанным только самому себе.) Асеведо Бандейра крепок телом, но как бы немножко горбится;

---

[35] Примечания: 35

Асеведо Бандейра — соединены фамилии матери и деда Борхеса. *(прим. Б. Дубин)*

в его лице, которое всегда повернуто в сторону собеседника, кажется, соединились еврей, негр и индеец; в его повадках — обезьяна и тигр; облик его дополняется шрамом через все лицо и черной щеткой усов.

Под влиянием — или по вине — выпитого стычка прекращается так же внезапно, как и началась. Оталора пьет с погонщиками, потом отправляется вместе с ними на гулянку, потом, уже на рассвете, в какой-то большой дом в Старом городе. На заднем дворе мужчины скидывают пояса и ложатся спать на голой земле. Оталора безотчетно сравнивает эту ночь со вчерашней; теперь он на твердой земле, среди друзей. По правде сказать, парня тревожат кое-какие угрызения: он совсем не тоскует по Буэнос-Айресу. Спит он долго и крепко, но его будит тот самый крестьянин, который спьяну метил ножом в Бандейру. (Оталора вспоминает, что этот человек наравне с остальными участвовал в бурной праздничной ночи и что Бандейра посадил его справа от себя и велел пить сколько влезет.) Крестьянин говорит Оталоре, что хозяин велел его привести. Оталора проходит через переднюю с боковыми дверями (он никогда еще такого не видел) и попадает в нечто вроде кабинета, где его ждет Асеведо

Бандейра; рядом с ним — светлокожая рыжеволосая женщина, вид у нее надменный. Бандейра тепло принимает гостя, угощает рюмкой каньи, повторяет, что считает Оталору человеком решительным, и предлагает ему вместе с остальными отправиться на север перегонять табун. Оталора соглашается; утро они встречают уже в пути, они едут в сторону Такуарембó.

Так начинается для Оталоры другая жизнь — с безбрежными рассветами и с днями, пропитанными конским потом. Такая жизнь для него в новинку и порою тяжела, но она у парня в крови: подобно тому, как другие народы ценят море и всегда к нему стремятся, так мы (не исключая и человека, выводящего эти письмена) мечтаем о бескрайней равнине, звенящей под подковами наших коней. Оталора вырос в квартале возчиков и мясников; не проходит и года, как он становится гаучо. Он учится скакать верхом, гуртовать табуны, забивать скот, метать лассо, которое обхватывает шею, и болас, который валит с ног, учится не поддаваться сну и порывам ветра, холоду и зною, поворачивать табун свистом и криком. Только однажды за время своего ученичества он видит Асеведо Бандейру, но его присутствие Оталора ощущает всечасно, потому что быть

человеком Бандейры — значит пробуждать в других почтение и страх, а еще потому, что о любом удальце другие гаучо скажут: «Бандейра делает это лучше». Поговаривают, что Бандейра родился по ту сторону реки Куарейм, в Риу-Гранди-ду-Сул, и это обстоятельство, в общем-то позорное для гаучо, непостижимым образом его обогащает: с ним и буйство сельвы, и непроходимые болота, и просторы, которым не видно конца. Постепенно Оталора понимает, что занятия Бандейры очень разнообразны, но главное из них — это контрабанда. Быть погонщиком значит быть слугой; Оталора намерен возвыситься до контрабандиста. Однажды вечером двум его товарищам предстояло пересечь границу и вернуться с партией каньи; Оталора подстраивает ссору с одним из них, ранит товарища и отправляется вместо него. Им движет тщеславие и вместе с тем смутное понятие о верности. «Пусть этот человек (думает Оталора) наконец-то поймет, что я сто́ю больше, чем все эти дикари, вместе взятые».

Проходит еще год, и Оталора возвращается в Монтевидео. Они едут по берегу Ла-Платы, затем по городу (город кажется Оталоре просто огромным) и наконец добираются до хозяйского дома; люди расседлывают коней на заднем дворе. Про-

ходят дни, а Оталора так и не видит Бандейру. Люди робко шепчутся, что хозяин болен; в спальню к нему поднимается только негр с чайником для заварки мате. Однажды вечером это дело поручают Оталоре. Выглядит немного унизительно, но в глубине души он доволен.

В спальне хозяина — беспорядок и полумрак. Балкон смотрит на закат, на длинном столе поблескивают пояса, кнуты, револьверы и ножи, в зеркале на дальней стене видна тусклая луна. Бандейра лежит на спине; он постанывает в полудреме; фигура его четко очерчена последней вспышкой солнца. На широкой белой постели он выглядит маленьким и потемневшим; Оталора подмечает седину, усталость, изможденье и борозды прожитых лет. Его возмущает, что ими командует этот старик. Он понимает, что хватило бы одного удара, чтобы свести все счеты. Но успевает заметить отражение в зеркале. В комнату входит та самая рыжеволосая женщина, полуодетая и босиком; она смотрит на Оталору с холодным любопытством. Бандейра приподнимается на постели; пока он рассуждает о делах и жадно прихлебывает мате, его пальцы играют с рыжими прядями. Наконец он разрешает Оталоре удалиться.

Через несколько дней поступает приказ всем отправляться на север. Гаучо добираются до затерянного ранчо — там все такое же, как и везде на этой бесконечной равнине. Ни деревьев, ни ручейка для услады взора, а солнце жарит с первого луча до последнего. К дому пристроены каменные корали, у скотины длинные рога и запавшие бока. Это невеселое местечко прозывается «Вздохи».

Оталора слышит разговор погонщиков: скоро из Монтевидео приедет Бандейра. Он спрашивает зачем — кто-то отвечает, что объявился чужак, который прикидывается гаучо и слишком охоч до власти. Оталора понимает, что это шутка, но ему лестно сознавать, что такая шутка уже возможна. Позже он узнаёт, что Бандейра свел дружбу с кем-то из важных политиков, а после тот отказался поддерживать Бандейру. Эта новость ему нравится.

Прибывают ящики с винтовками; прибывают кувшин и серебряный таз для спальни женщины; прибывают шторы из узорчатого дамаста; однажды утром из-за холмов приезжает угрюмый всадник в пончо и с густой бородой. Всадника зовут Ульпиано Суарес — он *капанга*, то есть телохранитель Асеведо Бандейры. Он

почти не раскрывает рта, а выговор у него бразильский. Оталора не знает, чем объяснить его сдержанность: враждебностью, презрением или просто-напросто дикостью. Зато он точно знает, что во исполнение своего тайного плана должен завоевать дружбу этого человека.

А потом в судьбу Бенхамина Оталоры въезжает каурый жеребец с черным хвостом — он приносит с юга Асеведо Бандейру, у него наборная сбруя, а чепрак оторочен тигриной шкурой. Этот статный жеребец — символ власти хозяина, поэтому Оталора мечтает его заполучить, а еще в нем крепнет злое вожделение к женщине с огненными волосами. Женщина, сбруя и жеребец — вот атрибуты, важнейшие составляющие того человека, которого он стремится уничтожить.

С этого места история делается сложнее и глубже. Асеведо Бандейра ловчее всех умеет мало-помалу запутать человека, он бесовски хитер в искусстве постепенного унижения, сочетая правду с побасенкой; Оталора принимает решение использовать этот двуострый метод для достижения своей непростой цели. Он намерен незаметно заменить собой Асеведо Бандейру. Встречая опасность плечом к плечу, он добивается дружбы Суареса. И открывает ему свой план;

Суарес обещает свою помощь.

Потом происходит еще много чего, но я скажу лишь о немногом. Оталора перестает подчиняться Бандейре: он то забывает, то подправляет, то извращает его приказы. Само мироздание, кажется, участвует в его заговоре, ускоряя ход событий. Однажды в долине под Такуарембо завязывается перестрелка с людьми из Риу-Гранди; Оталора принимает командование на себя, заняв место Бандейры. Пуля прошивает ему плечо, но в тот вечер Оталора возвращается на ранчо «Вздохи» на кауром жеребце хозяина, капли его крови пятнают тигриную шкуру, и в ту же ночь он спит с огневолосой женщиной. В других версиях этого рассказа порядок событий иной; некоторые отрицают, что все случилось в один день.

И все-таки, номинально, Бандейра до сих пор считается хозяином. Он отдает приказы, которые не исполняются; Бенхамин Оталора его не трогает — отчасти по привычке, отчасти из жалости.

Последняя сцена этой истории происходит в последнюю разгульную ночь 1894 года. Люди с ранчо «Вздохи» едят зарезанного накануне барашка и пьют забористое пойло; кто-то без конца наигрывает на гитаре сложную милонгу. Во главе стола захмелевший Оталора громоздит здрави-

цу на здравицу и бахвальство на бахвальство; эта шаткая башня — символ неизбежности его судьбы. Бандейра, молчаливый среди кричащих, позволяет этой лихой ночи течь своим чередом. Когда замолкает двенадцатый удар колокола, Бандейра встает с места как человек, вспомнивший о своем обязательстве. Он выходит из-за стола и негромко стучится в дверь женщины. Рыжая открывает сразу же, как будто бы ждала сигнала. Она стоит на пороге, полуодетая и босиком. Бандейра приказывает ей нежным, почти жеманным голосом:

— Раз уж вы с этим портеньо так любите друг друга, ты прямо сейчас поцелуешь его на виду у всех.

От этих слов становится жутко. Женщина упирается, но двое гаучо хватают ее за руки и швыряют к Оталоре. Заливаясь слезами, она целует его грудь и лицо. Ульпиано Суарес уже держит наготове револьвер. Оталора перед смертью осознает, что его предали с самого начала, что он был заранее приговорен, что ему позволили и любовь, и власть, и славу, потому что уже считали мертвым, потому что для Бандейры он был уже мертв.

Суарес, почти с презрением, спускает курок.

Богословы[36]
Перевод Е. Лысенко

Разорив сад, осквернив чаши и алтари, гунны верхом на лошадях[37] ринулись в монастырскую библиотеку, изорвали в клочья непонятные для них книги и с бранью сожгли их, видимо опасаясь, что в буквах таятся оскорбления их богу, кривой железной сабле. Сгорели палимпсесты и кодексы, но внутри костра средь пепла осталась почти невредима двенадцатая книга «Civitas Dei»[38],[39], где повествуется, что Платон в Афинах учил, будто в конце веков все возродится в прежнем своем виде и он будет здесь, в Афинах, перед

---

[36] Примечания: 36

Кроме мотивов Леона Блуа, на которые указывает сам Борхес, исследователи (Мерседес Бланко) дешифруют в новелле скрытую фигуру Ницше и полемику с его учением о циклах. *(прим. Б. Дубин)*

[37] Примечания: 37

…гунны верхом на лошадях… — Взятие Аквилеи, столицы Венетии, гуннами под предводительством Аттилы (451) описывает Э. Гиббон («Упадок и разрушение…», XXV), в свою очередь цитирующий в ряде мест Аммиана Марцеллина («Деяния», XXX, 2). *(прим. Б. Дубин)*

[38] Примечания: 38

«О Граде Божием» *(лат.).*

[39] Примечания: 39

«Civitas Dei» (413–426) — трактат Аврелия Августина; полемику со взглядами Платона на природу времени («Государство», кн. X) Августин

ведет в XIII главе двенадцатой книги этого трактата. *(прим. Б. Дубин)*

той же аудиторией снова проповедовать это же учение. К пощаженному огнем тексту относились с особым пиететом, и те, кто его читал и перечитывал в отдаленной этой провинции, и думать забыли о том, что автор упомянул это учение, лишь чтобы более основательно его опровергнуть. Век спустя Аврелиан, коадъютор Аквилеи, узнал, что на берегах Дуная недавно возникшая секта монотонов (называвшихся также «ануляры») исповедует веру в то, что история — круг и нет ничего, что не существовало бы прежде и не будет существовать в будущем. В горных областях Колесо и Змея[40] вытеснили Крест. Страх овладел всеми, но утешением послужил слух, что Иоанн Паннонский, снискавший известность трактатом о седьмом атрибуте Бога, готовится сокрушить мерзостную ересь.

Аврелиана эти вести огорчили, особенно последняя. Он знал, что в богословских материях любое новое слово сопряжено с риском, но затем рассудил, что тезис о круговом времени слишком необычен, слишком удивителен и посему риск тут невелик. (Опасаться надо тех ересей, кото-

[40] Примечания: 40

Колесо и Змея — символы неизбывной бесконечности, почитавшиеся в гностицизме (сектой офитов и др.); для христиан — атрибуты язычества и сатанинства. *(прим. Б. Дубин)*

рые можно спутать с ортодоксией.) Все же ему было неприятно вмешательство — почти наглое — Иоанна Паннонского. Двумя годами раньше сей муж в пространном сочинении «De septima affectione Dei sive de aeternitate»[41] узурпировал тему из области Аврелиана; теперь же, словно проблема времени была в его ведении, он собирался наставить на путь истинный — возможно, аргументами Прокруста, противоядиями пострашнее, чем сам яд Змеи, — этих ануляров… В ту ночь Аврелиан, листая древний диалог Плутарха об упадке оракулов[42], обнаружил в двадцать девятом параграфе насмешку над стоиками, предполагавшими существование бесконечного множества миров с бессчетными солнцами, лунами, Аполлонами, Дианами и Посейдонами. Свою находку Аврелиан счел счастливым предзнаменованием: он решил опередить Иоанна Паннонского и сокрушить еретиков, чтящих Колесо.

Иногда мужчина добивается любви женщи-

---

[41] Примечания: 41

«О седьмой любви Бога, или О вечности» *(лат.).*

[42] Примечания: 42

…об упадке оракулов… — Этот диалог Плутарха не раз упоминает Т. Браун («Religio medici», I, 29; «Pseudodoxia epidemica», VII, 12). *(прим. Б. Дубин)*

ны, чтобы забыть о ней, чтобы больше о ней не думать; так и Аврелиану хотелось превзойти Иоанна Паннонского, чтобы избавиться от неприязни, которую испытывал к нему, но отнюдь не для того, чтобы причинить ему зло. Сама работа над сочинением, построение силлогизмов и придумывание едких выпадов, все эти «nego»[43], и «autem»[44], и «nequamquam»[45] умеряли раздражение, помогали забыть о неприязни. Он строил длинные, запутанные периоды, загроможденные вставными предложениями, в которых небрежность слога и солецизмы были как бы выражением презрения. Неблагозвучность он сделал своим орудием. Предвидя, что Иоанн Паннонский будет сокрушать ануляров в пророчески-торжественном тоне, Аврелиан, дабы избежать сходства, избрал тон издевки. Августин писал, что Иисус — это прямой путь[46], спасающий нас от кругов лабиринта, в коем

---

[43] Примечания: 43
Отрицаю *(лат.).*

[44] Примечания: 44
С другой стороны *(лат.).*

[45] Примечания: 45
Никоим образом *(лат.).*

[46] Примечания: 46
…Иисус — это прямой путь… — Соединение двух цитат из трактата Августина (XII, 17 и XII, 20). *(прим. Б. Дубин)*

блуждают безбожники: Аврелиан, как старательный ученик, сравнил их с Иксионом, с печенью Прометея, с Сизифом, с фиванским царем, увидевшим два солнца[47], с заиканием, с белкой, с зеркалом, с эхом, с мулами у нории[48] и с двурогими силлогизмами. (Языческие легенды все еще жили, низведенные до уровня стилистических украшений.) Подобно всякому владельцу библиотеки, Аврелиан чувствовал вину, что не знает ее всю; это противоречивое чувство побудило его воспользоваться многими книгами, как бы таившими упрек в невнимании. Так, он сумел вставить пассаж из «De principiis»[49] Оригена[50], опровергающий мнение, будто Иуда Искариот снова предаст Господа, а Павел будет в Иерусалиме[51] снова присутствовать при муче-

---

[47] Примечания: 47

…фиванским царем, увидевшим два солнца… — Имеется в виду Пенфей, наказанный Дионисом за то, что пытался противодействовать его культу (см.: Еврипид, «Вакханки», эписодий IV; Вергилий, «Энеида», IV, 469–470). *(прим. Б. Дубин)*

[48] Примечания: 48

Нория — колодезное колесо с черпаками в испанских деревнях. *(прим. Б. Дубин)*

[49] Примечания: 49

«О началах» *(лат.)*.

[50] Примечания: 50

…пассаж… Оригена… — См. трактат «О началах» (I, VII, 4; II, III, 4 и др.), где взглядам Эпикура противопоставлен тезис о свободе души самостоятельно избирать добро или зло, разрывая этим заклятый круг

предопределения. Для ересиологического сюжета рассказа важно, что к этим воззрениям, в VI в. признанным еретическими, предельно близки канонизированные впоследствии взгляды Августина («О Граде Божием», кн. XII, гл. 1). *(прим. Б. Дубин)*

[51] Примечания: 51

…Павел будет в Иерусалиме… — Деян 7: 58. *(прим. Б. Дубин)*

нической гибели Стефана, и еще другой пассаж из «Academica priora»[52] Цицерона[53], где высмеяны люди, воображающие, будто в то время, когда он беседует с Лукуллом, бесконечное множество других Лукуллов и других Цицеронов говорят в точности то же самое в бесчисленных мирах, подобных нашему. Вдобавок Аврелиан обрушил на монотонов упомянутый текст Плутарха и свое негодование по поводу того, что, мол, на язычника lumen naturae[54] оказал большее действие, чем на них слово Божье. Труд этот занял у него девять дней, а на десятый ему вручили перевод опровержения, сочиненного Иоанном Паннонским.

Оно было почти смехотворно кратким — Аврелиан взглянул на него с презрением, а затем со страхом. В первой части содержалось толкование заключительных стихов девятой главы Послания

---

[52] Примечания: 52

«Первые Академики» *(лат.).*

[53] Примечания: 53

...пассаж... Цицерона... — «Первые Академики» (II, XVII, а также XXVI и XL), где в ходе спора между Лукуллом и Катуллом приводится мнение Антиоха Аскалонского, утверждающего множественность миров и повторение в них каждого события, включая, соответственно, и сам настоящий диалог. Этот пассаж Борхес обсуждал в эссе «Циклическое время». *(прим. Б. Дубин)*

[54] Примечания: 54

Свет природы *(лат.).*

к евреям[55], где сказано, что Иисус не приносил себя в жертву многократно от начала мира, но совершил это однажды к концу веков. Во второй части было приведено библейское упоминание о тщетном многословии язычников (Мф 6: 7) и то место из седьмой книги Плиния, где говорится, что во всей вселенной не найти двух одинаковых лиц. Точно так же, заявлял Иоанн Паннонский, не найти и двух одинаковых душ, и самый гнусный грешник столь же драгоценен, как кровь, ради него пролитая Иисусом Христом. Поступок одного человека, утверждал он, имеет больше веса, чем все девять концентрических небес, и воображать, будто он может исчезнуть, а потом возникнуть снова, — значит проявить вопиющее легкомыслие. Время не восстанавливает то, что мы утратили: вечность хранит это для райского блаженства, но также для огня адова. Трактат был написан ясно и всеобъемлюще — казалось, он сочинен не конкретной личностью, но как бы «всяким человеком» или — быть может — всем человечеством.

---

[55] Примечания: 55

Послание к евреям — новозаветный текст, приписываемый традицией апостолу Павлу, который, до своего обращения в христианство именуясь Савлом, присутствовал при истязании Стефана (см. выше). *(прим. Б. Дубин)*

Аврелиан испытал острое, почти физическое чувство унижения. Ему захотелось уничтожить или переделать свой труд, но затем, движимый обозленной честностью, он отправил его в Рим, не изменив ни одной буквы. Несколько месяцев спустя, когда собрался Пергамский собор, опровергнуть заблуждения монотонов поручили (как и следовало ожидать) Иоанну Паннонскому; его ученого, сдержанного по тону опровержения оказалось достаточно, чтобы ересиарха Эвфорбия осудили на сожжение[56]. «Это уже происходило и произойдет снова, — сказал Евфорбий[57]. — Вы возжигаете не костер, но огненный лабиринт. Если бы здесь соединились все костры, на которые я восходил, они не уместились бы на земле и ангелы ослепли бы. И это я говорил неоднократно». Потом он стал кричать, потому что огонь добрался до него.

---

[56] Примечания: 56

…осудили на сожжение… — Вообще-то, первые свидетельства о предании еретиков огню восходят в Европе лишь к XI в. *(прим. Б. Дубин)*

[57] Примечания: 57

Эвфорбий. — Как передает Диоген Лаэртский («О жизни, учениях и изречениях…», VIII, 4–5), Пифагор вспоминал, что был когда-то рыбаком Пирром, а до этого — троянским воином Эвфорбом. *(прим. Б. Дубин)*

Колесо пало, побежденное Крестом[58], однако Аврелиан и Иоанн продолжали свою тайную войну. Оба сражались в одном и том же стане, оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за которым не таилось бы безотчетного стремления превзойти Иоанна. Его страдания оставались невидимы — если тексты меня не обманывают, имя «другого» ни разу не *появляется во* многих томах Аврелиана, собранных в «Патрологии» Миня. (От сочинений Иоанна дошли всего-навсего двадцать слов.) Оба не одобряли анафем, провозглашенных вторым Константинопольским собором[59], оба осуждали ариан, отрицавших божественную сущность Сына, оба подтверждали ортодоксальность «Хри-

[58] Примечания: 58

В рунических крестах переплетены и сочетаются оба враждебных символа.

Рунический крест — крест с расширяющимися к концам перекладинами, вписанный в круг; описанию разновидностей креста и истолкованию их символики посвящена первая глава книги Т. Брауна «Сад Кира». *(прим. Б. Дубин)*

[59] Примечания: 59

Второй Константинопольский собор был созван в 533 г. *(прим. Б. Дубин)*

стианской топографии»[60] Косьмы, который учит, что Земля, подобно еврейской скинии, имеет форму четырехугольника. На беду, во всех четырех углах Земли объявилась другая, бурно ширившаяся ересь. Родившись в Египте или Азии (свидетельства тут расходятся, и Буссе не желает принять доводы Гарнака[61]), она заразила восточные провинции и воздвигла свои капища в Македонии, в Карфагене и в Трире. Казалось, она свирепствует повсеместно, — говорили, что в Британском епископстве перевернули распятия вверх ногами, а в Цезарее образ Господа заменили зеркалом. Эмблемами новых схизматиков были зеркало и обол.

Истории они известны под разными именами (спекуляры, абисмалы, каиниты[62]), но самым

---

[60] Примечания: 60

«Христианская топография» (535) — популярный трактат об устройстве мира византийского путешественника Косьмы Индикоплевста (Индикоплова). *(прим. Б. Дубин)*

[61] Примечания: 61

Адольф фон Гарнак (1851–1930) — немецкий историк религии и церкви; сюжетный ход новеллы — «догмат в историческом развитии всегда пожирает своих творцов» — не раз воспроизводится в его фундаментальной «Истории догматов» (например, «Введение», 7 и др.). Гарнак отстаивал идею эллинистического происхождения гностицизма, связывая его с Египтом; Буссе полемизировал с ним, считая гностическую мысль ориентализацией христианства, и обнаруживал ее истоки в Сирии. *(прим. Б. Дубин)*

[62] Примечания: 62

Каиниты. — Об этой секте сообщает Тертуллиан («Опровержение ересей», XXXIII). *(прим. Б. Дубин)*

общепринятым было гистрионы, данное им Аврелианом и дерзостно ими подхваченное. Во Фригии их называли «симулякры», так же и в Дардании. Иоанн Дамаскин[63] именовал их «формы» — тут следует заметить, что этот пассаж не признан Эрфьордом. Нет такого ересеведа, который бы с изумлением не сообщал об их чудовищных обычаях. Многие гистрионы проповедовали аскетизм — некоторые увечили себя, подобно Оригену, другие жили под землею, в клоаках, иные вырывали себе глаза; иные (навуходоносоры из Нитрии) «ели траву, как волы, и волосы выросли у них, как у орла»[64]. От умерщвления плоти и самоистязания они нередко переходили к преступлению, в некоторых общинах процветало воровство, в иных убийство, в иных содомия, кровосмешение и скотоложество. Все они были богохульники, поносили не только христианского Бога, но даже таинственных

---

[63] Примечания: 63

Иоанн Дамаскин. — Среди ста сект, упоминаемых им в трактате «О ересях», упоминаемой в рассказе нет (впрочем, на апокрифичность ссылки в тексте указано); о «формах» или «образах» Дамаскин писал, имея в виду символическое представление божественной природы на иконах или в тварных существах, людях. *(прим. Б. Дубин)*

[64] Примечания: 64

…«ели траву, как волы…» — Измененная цитата из ветхозаветной книги пророка Даниила (4: 29–30), где она описывает вавилонского царя Навуходоносора. *(прим. Б. Дубин)*

богов своего пантеона. Они сочиняли священные книги, утрату которых оплакивают ученые. Сэр Томас Браун[65] писал около 1658 года: «Время уничтожило горделивые гистрионические Евангелия, но не Оскорбления, коим было подвергнуто их Нечестие»; Эрфьорд предположил, что эти «оскорбления» (сохранившиеся в одном греческом кодексе) — они-то и суть утерянные Евангелия. Это кажется непонятным, если не знать космологию гистрионов.

В герметических книгах сказано: то, что есть внизу, подобно тому, что есть вверху, а то, что есть вверху, подобно тому, что есть внизу; в «Зогаре» говорится, что мир нижний — это отражение мира верхнего. Гистрионы основывали свое учение на извращении этой мысли. Они ссылались на Матфея 6: 12 («Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») и 11: 12 («Царство небесное силой берется») в доказательство того, что земля воздействует на небо, и еще приводили цитату из Первого послания Коринфянам 13: 12 («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло») как подтверждение того, что все нами видимое — ложь. Возможно,

---

[65] Примечания: 65

…Томас Браун писал… — Цитата представляет собой мистификацию. *(прим. Б. Дубин)*

под влиянием монотонов они полагали, будто всякий человек — это два человека и истинный из них — тот, другой, на небе. Также воображали они, что наши поступки отбрасывают неистребимое обратное отражение, — стало быть, если мы бодрствуем, тот, другой, спит; если блудим, другой целомудрен; если грабим, другой честен. После смерти мы соединимся с ним и будем им. (Какой-то отголосок этих учений есть у Блуа.) Другие гистрионы считали, что миру придет конец, когда исчерпается число его возможностей, и, поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить (то есть совершить) наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова. Это положение отрицали другие секты, утверждавшие, что в каждом человеке должна совершиться история всего мира. Большинству, как Пифагору, надлежит пройти через переселение в многие тела, прежде чем они получат освобождение; другие, протеики, «за срок одной жизни суть львы, драконы, кабаны, вода и дерево». Демосфен сообщает об очищении грязью[66],

[66] Примечания: 66

…об очищении грязью… — Об этом обряде приверженцев восточных культов Демосфен упоминает в речи «За Ктесифонта о венке». *(прим. Б. Дубин)*

которому подвергали посвящаемых в орфические мистерии; подобно этому протеики искали очищения злом. Они полагали, как Карпократ, что никто не выйдет из темницы, пока не отдаст последней полушки (Лк 12: 59), и обычно обольщали кающихся еще другим стихом: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели с избытком» (Ин 10: 10). Говорили они также, что не быть злодеем — сатанинская гордыня… Множество разноречивых мифологий придумали гистрионы: одни призывали к аскетизму, другие к распутству, и все — смущали умы. Феопомп, гистрион из Береники, отрицал все легенды: он утверждал, что всякий человек — это о́рган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир[67].

Еретики Аврелианова диоцеза принадлежали к тем, которые заявляли, что повторений во времени не бывает, а не к тем, которые утверждали, что всякий поступок отражается в небесах. Это обстоятельство было необычным, и в одном докладе римским властям Аврелиан о нем упомянул. Прелат, которому отправлял он это донесение, был

[67] Примечания: 67

…всякий человек — это о`рган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир. — Этой формулой Лейбниц в переписке с С. Кларком характеризует мировоззрение Ньютона; тем самым в спор между героями новеллы входит еще и полемика Лейбница с Ньютоном. *(прим. Б. Дубин)*

духовником императрицы; все знали, что трудная его должность была сопряжена с запретом предаваться интимным радостям спекулятивного богословия. Но секретарь прелата — прежде коллега Иоанна Паннонского, ныне с ним враждовавший, — имел славу дотошного исследователя ересей; Аврелиан к докладу добавил изложение гистрионической ереси, встречавшейся в маленьких монастырях Генуи и Аквилеи. Написав несколько абзацев, он собирался изложить ужасный тезис, что нет двух одинаковых мгновений, и тут перо его остановилось. Он не мог найти нужную формулировку. Поучения новой ереси («Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели? Посмотри на луну. Хочешь услышать то, что уши не слышали? Послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека? Потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир») были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа. И вдруг в уме его возникло предложение из двадцати слов. Он радостно его записал, и тотчас же его кольнуло подозрение, что формулировка эта — не его. На другой день он вспомнил, что прочитал ее

много лет назад в «Adversus annulares»[68], трактате Иоанна Паннонского. Он проверил цитату — да, она была там. Аврелианом овладели мучительные колебания. Изменить или убрать эти слова означало бы ослабить выразительность; оставить их будет плагиатом у ненавистного ему человека; указать источник будет доносом. Он воззвал к небесам. Под вечер следующего дня его ангел-хранитель продиктовал компромиссное решение. Аврелиан те слова сохранил, но сопроводил их таким предуведомлением: «То, о чем ныне брешут ересиархи, дабы смутить веру, сказал в нашем веке некий ученейший муж, более по недомыслию, нежели из греховности». Потом случилось то, чего он опасался, чего ждал, чего нельзя было предотвратить. Аврелиану пришлось открыть, кто этот муж. Иоанн Паннонский был обвинен в приверженности к ереси.

Четыре месяца спустя кузнец с Авентина, обольщенный лживыми уверениями гистрионов, взвалил на плечи своему маленькому сыну огромный железный шар, чтобы его двойник взлетел ввысь. Ребенок погиб. Ужас, вызванный этим преступлением, обязал судей Иоанна к

---

[68] Примечания: 68
«Против ануляров» *(лат.).*

неукоснительной строгости. Тот не пожелал отречься от своих слов и повторял, что отрицание его мнения ведет к гибельной ереси монотонов. Он не понимал (или не хотел понимать), что говорить о монотонах бессмысленно — о них давно забыли. С упрямством, отчасти старческим, он щедро приводил наиболее блестящие периоды из прежнего своего полемического труда, но судьи даже не слушали того, чем некогда восхищались. Иоанну следовало постараться очистить себя от малейшего подозрения в гистрионизме, а он доказывал, что мысль, за которую его обвиняют, строго ортодоксальна. Он спорил с людьми, от решения которых зависела его судьба, и еще допустил величайшую оплошность — спорил с блеском и иронией. Двадцать шестого октября, после обсуждения, длившегося три дня и три ночи, его приговорили к смерти на костре.

Аврелиан присутствовал при казни[69] — отказаться означало бы признать себя виновным. Местом казни был холм, на зеленой вершине которого стоял глубоко вкопанный в землю столб,

[69] Примечания: 69

Аврелиан присутствовал при казни... — Комментаторы (Р. Борельо) проводят параллели между этой сценой и описанием казни Мигеля Сервета (Борхес упоминает о ней в эссе «Искусство оскорбления») у Менендеса Пелайо в его книге «Испанские ересиархи». *(прим. Б. Дубин)*

обложенный охапками дров. Чиновник прочитал решение трибунала. Под лучами полуденного солнца Иоанн Паннонский лежал лицом в пыли, издавая звериный вой. Он цеплялся за землю, но палачи схватили его, раздели и наконец привязали к столбу. На голову ему надели пропитанный серой венок из соломы, к груди привязали экземпляр зловредной книжицы «Adversus annulares». Накануне ночью прошел дождь, дрова горели плохо. Иоанн Паннонский молился по-гречески, потом на незнакомом языке. Пламя костра уже обволакивало его, когда Аврелиан решился поднять глаза. Огненные языки на миг замерли — Аврелиан в первый и последний раз увидел лицо ненавистного человека. Оно ему напомнило кого-то, но он не мог сообразить кого. Потом огонь закрыл все, потом тот кричал, и казалось, будто кричит сам костер.

Плутарх сообщает, что Юлий Цезарь оплакивал гибель Помпея[70]. Аврелиан гибели Иоанна не оплакивал, но почувствовал то, что чувствует человек, исцелившийся от неизлечимой болезни, ставшей частью его жизни. В Аквилее, в Эфесе,

[70] Примечания: 70

…Цезарь оплакивал… Помпея… — Убийство Помпея было услугой Цезарю, однако тот, по рассказу Плутарха («Цезарь», 48), пролил слезы, когда ему поднесли голову убитого соперника. *(прим. Б. Дубин)*

в Македонии провел он долгую череду лет. Он устремлялся к неприветливым границам империи, в глухие болота и отшельнические пустыни, дабы одиночество помогло ему постигнуть его жребий. Как-то в мавританском шатре среди ночи, гремевшей львиным рыком, он перебирал в уме сложное обвинение, предъявленное Иоанну Паннонскому, и в энный раз соглашался с приговором. Однако оправдать свой лицемерный донос было труднее. В Русаддире он произнес теперь уже неуместную проповедь «Светоч светочей, возженный в плоти отступника». В Гибернии[71], в келье окруженного лесами монастыря, когда ночь близилась к рассвету, он вдруг услышал шум дождя. Ему вспомнилась римская ночь, в которую он так же внезапно услышал дробный шум капель. В полдень молния зажгла деревья, и Аврелиан смог умереть той же смертью, что Иоанн.

Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в Царстве Небесном, где времени не существует. Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется рели-

---

[71] Примечания: 71

Гиберния — античное название нынешней Ирландии. *(прим. Б. Дубин)*

гиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского. Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в Божественном разуме. Вернее будет сказать по-иному: в раю Аврелиан узнал, что для непостижимого божества он и Иоанн Паннонский (ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и жертва) были одной и той же личностью.

История воина и пленницы[72]
Перевод Б. Дубина

Ульрике фон Кюльман[73]

На 278-й странице своей «Поэзии» (Бари, 1942) Кроче, конспектируя латинский текст историка Павла Диакона, рассказывает о судьбе и приводит эпитафию некоего Дроктульфта; и то и другое странно тронуло меня, почему — я догадался позже. Воин из племени лангобардов, Дроктульфт при осаде Равенны оставил своих и погиб, обороняя город, который перед тем штурмовал. Равеннцы погребли его в одном из храмов и сложили эпитафию, засвидетельствовав свою признательность («contempsit caros, dum nos amat, ille, parentes»)[74] и поразительное несоответствие между кровожадным лицом этого варвара и его

---

[72] Примечания: 72

В 1989 г. франко-аргентинский кинорежиссер (и исследователь борхесовских взаимоотношений с кино) Эдгардо Козаринский снял по мотивам новеллы фильм «Воины и пленницы». *(прим. Б. Дубин)*

[73] Примечания: 73

Ульрика фон Кюльман — приятельница и корреспондентка Борхеса 40-х гг., позднее переехала в США; упомянута также в рассказе «Вторая смерть». *(прим. Б. Дубин)*

[74] Примечания: 74

Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными *(лат.)*.

простосердечием и добротой:

Terribilis visu facies, sed mente benignus,
Longaque robusto pectores barba fuit![75]

Такова история жизни Дроктульфта — варвара, погибшего, защищая Римскую империю: точнее, такова часть этой истории, которую сумел выручить у времени Павел Диакон. Неизвестно даже, когда это все произошло: то ли в середине шестого века, когда лангобарды опустошали поля Италии, то ли в восьмом, перед падением Равенны. Представим себе (я ведь пишу не исторический труд) первое.

Представим Дроктульфта sub specie aeternitates[76] — не самого по себе, конечно же, единственного и непостижимого (как любой), а обобщенный тип, в который его и тысячи ему подобных превратило предание, — труд памяти и забвения. Сквозь темную географию чащ и топей война привела его с берегов Дуная и Эльбы в Италию, а он, вероятно,

[75] Примечания: 75

Эти стихи приводит и Гиббон («Decline and Fall», XLV — «Упадок и разрушение» *(англ.)*).

Ликом ужасен он был, но благожелателен духом,
С долгой своей бородой, павшей на мощную грудь *(лат.)*.

[76] Примечания: 76

С точки зрения вечности *(лат.)*.

и не знал, что идет на юг и сражается против римского владычества. Он мог быть из ариан[77], верующих, будто слава Сына — лишь отсвет славы Отца, но скорее ему подойдет образ поклонника Земли, Эрты[78], чей закутанный истукан возят от бивака к биваку в телеге, запряженной быками, или божеств войны и грозы, неповоротливых деревянных идолов, облаченных в тканину и увешанных монетами и кольцами. Он явился из непроглядных чащ кабана и зубра, был светловолос, храбр, простодушен, беспощаден и признавал не какую-то вселенную, а своего вождя и свое племя. Война привела его в Равенну, где он увидел то, чего никогда не видел раньше или видел, но не замечал. Он увидел свет, кипарисы и мрамор. Увидел строй целого — разнообразие без сумятицы; увидел город в живом единстве его статуй, храмов, садов, зданий, ступеней, чаш, капителей, очерченных и распахнутых про-

[77] Примечания: 77

Ариане. — Поскольку сторонников Ария как еретиков ссылали на окраины Римской империи, многие варварские племена были приобщены к христианству именно еретиками; к тому же провинции оказывались куда меньше затронуты христологическими спорами и с запозданием откликались на запреты церковных соборов. *(прим. Б. Дубин)*

[78] Примечания: 78

Эрта (Нертус) — германская богиня-мать, воплощение плодородия; о ней сообщает Тацит («Германия», XL), ей посвящен гимн Ч. А. Суинберна («Песни перед восходом»). *(прим. Б. Дубин)*

странств. Его — я уверен — потрясла не красота увиденного; оно поразило его, как нас сегодня поражают сложнейшие механизмы, чьего назначения мы не понимаем, но в чьем устройстве чувствуем бессмертный разум. Может быть, ему хватило одной-единственной арки с неведомой надписью вечными римскими литерами. И тут его вдруг ослепило и снова вернуло к жизни откровение по имени Город. Он понял, что будет тут хуже последней собаки или несмышленого малолетки, что не приблизится к разгадке даже на шаг, но понял и другое: этот город сильнее его богов, верности вождю и всех топей Германии. И тогда Дроктульфт покидает своих и переходит на сторону Равенны. Он гибнет, а на его надгробии выбивают слова, которые он, скорее всего, не сумел бы прочесть:

> *Contempsit caros, dum nos amat, ille, parentes,*
>
> *Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam*[79].

Он был не предателем (предатели обычно не удостаиваются благоговейных эпитафий), а про-

---

[79] Примечания: 79

Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными,
Новой отчизной своей нашу Равенну признав *(лат.)*.

зревшим, новообращенным. Через несколько поколений те же клеймившие было перебежчика лангобарды вступили на его путь и стали итальянцами, ломбардцами, и, может быть, один из его кровников по имени Альдигер дал начало тем, кто дал потом начало Алигьери… О поступке Дроктульфта можно строить разные предположения; мое, пожалуй, самое простое, и если оно неточно как факт, то, может быть, подойдет как символ.

Прочитанная у Кроче история воина странно тронула меня: я почувствовал под незнакомой оболочкой что-то свое, близкое. Мелькнула мысль о монгольских всадниках, думавших обратить Китай в гигантское пастбище, а потом состарившихся в городах, которые хотели стереть с лица земли; но я искал в памяти другое. И наконец нашел: это был рассказ, услышанный однажды от бабушки-англичанки, теперь уже покойной.

В 1872 году мой дед Борхес отвечал за границу на северо-западе провинции Буэнос-Айрес и юге Санта-Фе. Командный пункт располагался в Хунине; дальше, лигах в четырех-пяти друг от друга, цепью тянулись заставы, а еще дальше простиралась так называемая Пампа, или Внутренние Территории. Как-то, удивляясь и шутя разом,

бабушка заговорила о судьбе, забросившей ее, англичанку, на этот край света; ей ответили, что она здесь такая не одна, а месяц-другой спустя показали индианку, не спеша пересекавшую площадь. Она была в двух пестрых накидках и босиком; волосы отливали золотом. Один из солдат передал, что с ней хочет поговорить другая англичанка; та согласилась и вошла в комендатуру без страха, но насторожась. На медном, грубыми красками расписанном лице голубели глаза того выгоревшего оттенка, который англичане зовут серым. У легкой, как лань, женщины руки были сильные, ширококостые. Она явилась из дремучей глуши, с Внутренних Территорий, и все — двери, стены, меблировка — казалось ей слишком маленьким.

Может быть, женщины на секунду почувствовали себя сестрами: обе были за тридевять земель от родного острова, в немыслимом краю. Бабушка о чем-то спросила индианку; та ответила неуверенно, подыскивая и повторяя слова, будто изумляясь давно забытому вкусу. На языке предков она не говорила уже лет пятнадцать и вспоминала его с трудом. Рассказала, что родом из Йоркшира, что родители приехали в Буэнос-Айрес, но погибли при налете индейцев, а саму ее

нападавшие забрали с собой и теперь она — жена вождя, которому родила двух сыновей и который очень храбр. Все это говорилось на топорном, деревенском английском языке, пересыпанном арауканскими выражениями и наречием пампы. За словами вставала жестокая жизнь: хижины из лошадиных шкур, кизяковый костер, пиры с обгорелым мясом и сырыми потрохами, тайные вылазки поутру; набег на загоны для скота, ор и разбой, схватка, богатая конская сбруя, уносимая с хуторов полуголыми всадниками, многоженство, смрад, колдовство. И в это варварское существование ввергнута англичанка! С содроганием и жалостью бабушка уговаривала ее не возвращаться. Обещала защитить, выкупить сыновей. Но та клялась, что счастлива, и тем же вечером вернулась в свою глушь. Вскоре, в ходе революции 1874 года, Франсиско Борхес погибнет; и, может быть, бабушка наконец разглядит в образе той женщины, тоже похищенной силой и перекроенной безжалостным континентом, чудовищное зеркало собственной судьбы…

Раньше не было года, чтобы светловолосая индианка не заезжала в лавки Хунина или форта Лавалье за мелочами и всяческим «баловством»; но после разговора с бабушкой она больше не

появлялась. И все же случай свел их еще раз. Както бабушка отправилась поохотиться; мужчина на одном из хуторов резал у поймы овцу. Как во сне, показалась верхом та индианка. Спешилась и стала лакать свежую кровь. То ли она уже не могла иначе, то ли это был вызов, знак.

Тысяча триста лет и два океана разделяют судьбу пленницы и Дроктульфта. Оба остались в невозвратимом прошлом. Образ варвара, принявшего сторону Равенны, и образ европеянки, выбравшей дикую глушь, могут показаться противоположностями. И все же ими двигал один тайный порыв, порыв сильнее любых доводов, и оба покорились этому порыву, разумных объяснений которому не было. Не исключаю, что обе пересказанные истории на самом деле одна. Орел и решка этой монеты для Господа неотличимы.

Биография Тадео Исидоро Круса (1829–1874)[80]
Перевод Л. Синянской

I'm looking for the face I had
Before the world was made.[81]
Yeats. The Winding Star **[82]**

Шестого февраля 1829 года повстанцы, преследуемые на этот раз Лавальe[83], шли с Юга на соединение с войсками Лопеса[84] и сделали привал в поместье, названия которого не знали, в трех или четырех лигах от Пергамино; перед рассветом одному из них приснился страшный сон; в полутемном бараке он закричал и разбудил

---

[80] Примечания: 80

Новелла использует мотивы поэмы Эрнандеса «Мартин Фьерро», дополняя и перелицовывая их достаточно вольно (так, оба имени эрнандесовского героя сержанта Круса — вымысел Борхеса, выдуман и его поход на Буэнос-Айрес вместе с войсками одного из предков Борхеса, Франсиско Хавьера Асеведо, и т. д.). *(прим. Б. Дубин)*

[81] Примечания: 81

I'm looking for the face… — Из стихотворения Йейтса «Женщина в юности и в старости» (оно написано от лица женщины), включенного в книгу «Блуждающая звезда» (1933). *(прим. Б. Дубин)*

[82] Примечания: 82

Искать мне, истощая зренье,
Свой лик до миросотворенья.
Йейтс. Блуждающая звезда (англ.).

[83] Примечания: 83

Хуан Гало Лавалье (1797–1841) — аргентинский военачальник эпохи Войны за независимость, соратник генерала Сан-Мартина, участвовал в борьбе с диктатурой Х. М. де Росаса. *(прим. Б. Дубин)*

[84] Примечания: 84

Висентпе Лопес-и-Планес (1784–1846) — военный и политический деятель Аргентины. *(прим. Б. Дубин)*

спавшую с ним женщину. Никто не знает, что ему приснилось, потому что на следующий день в четыре часа повстанцы были обращены в бегство конницей Суареса, которая гналась за ними девять лиг, пока в поле не стемнело, и человек тот умер во рву — череп ему раскроила сабля, воевавшая в Перу и в Бразилии. Женщину звали Исидора Крус; и сын, который у нее родился, был наречен Тадео Исидоро.

Я не собираюсь пересказывать его жизнь. Из всех дней и ночей, которые ее составляли, меня интересует только одна ночь; об остальных я и говорить не буду, разве только затем, чтобы та ночь стала понятной. Приключившиеся события содержатся в знаменитой книге[85]; другими словами, в книге, которая может для всех сделаться всем (1 Кор 9: 22), ибо способна выдержать почти неисчерпаемое количество повторений, переложений и перелицовок. Те, кто комментировал — а таких было много — жизнь Тадео Исидоро, отмечают, что на его формирование

[85] Примечания: 85

…в знаменитой книге… — Имеется в виду поэма Х. Эрнандеса «Мартин Фьерро», но отсылка к новозаветному тексту, к которому Борхес возвращался в своих книгах много раз, позволяет сопоставить героя с апостолом Павлом и вводит в тему будущей измены Круса другое измерение — это полная перемена веры, своего рода апостольское крещение (такое же преображение — тема обоих сюжетов новеллы «История воина и пленницы»). *(прим. Б. Дубин)*

повлияла равнина, однако гаучо, подобно ему, рождались и умирали и на заросших тропическими лесами берегах Параны, и в высившихся на востоке горах. Но Крус действительно жил в мире однообразном и диком. Он умер в 1874 году от черной оспы и ни разу так и не увидел ни гор, ни фабричной трубы, ни мельницы. И города не видел. В 1849 году вместе с войском установления порядка Франсиско Хавьера Асеведо он отправился в Буэнос-Айрес; пастухи вошли в город, чтобы разграбить его; Крус из опаски не решился выйти с постоялого двора, находившегося неподалеку от загонов. Там он провел много дней, молчаливый и замкнутый, спал на земле, пил мате, вставал с рассветом, сосредоточенно молился. Особым чутьем (что сильнее всяких слов и доводов рассудка) он понял: у него с городом нет ничего общего. Как-то пьяный пеон посмеялся над ним. Крус ему ничего не сказал, но тот, возвращаясь к ночи, присаживался у очага и продолжал насмехаться; и однажды Крус (никогда ранее не проявлявший злобы или неудовольствия) ударом кулака свалил его. А сам бежал и несколько дней прятался в высоком жнивье; но вот как-то ночью по крику вспугнутой птицы-чаха он понял, что окружен полицией. Он попробовал свой нож,

срубив стебель; чтобы шпоры не помешали ему на земле, он снял их. Он решил не сдаваться и биться до последнего. Его ранили в руку, в плечо, в левую ладонь; и он тяжело ранил самых смелых своих противников; когда кровь заструилась у него меж пальцев, он стал еще отважнее, чем раньше[86]; перед рассветом его, истекавшего кровью и почти терявшего сознание, разоружили. Армия в те времена зачастую играла роль карателя: Круса отправили в крепость на северной границе. Рядовым солдатом он участвовал в гражданских войнах; случалось, сражался за провинцию, откуда был родом, а случалось, что и против нее. Двадцать третьего января 1856 года в Лагуна Кардосо[87] он был в числе тридцати христиан, которые под командой старшего сержанта Эусебио Лаприды[88] бились с двумя сотнями индейцев. В этом сражении он был ранен копьем.

---

[86] Примечания: 86

…когда кровь заструилась у него меж пальцев, он стал еще отважнее… — Как указывает Сильвия Моллой, это цитата из книги Дж. Беньяна «Путь паломника». *(прим. Б. Дубин)*

[87] Примечания: 87

Лагуна Кардосо — долина на севере провинции Буэнос-Айрес, место решающего боя 25 января 1856 г. между войсками генералов Флореса и Митре. *(прим. Б. Дубин)*

[88] Примечания: 88

Эусебио Лаприда (1829–1898) — аргентинский военачальник, родственник Борхеса. *(прим. Б. Дубин)*

В истории его мрачной и бесстрашной жизни много пробелов. В 1868 году, мы знаем, он снова оказывается в Пергамино; жена или наложница родила ему сына, а сам он теперь хозяин небольшого земельного надела. В 1869 году он получает звание сержанта сельской полиции. Он искупил свое прошлое и теперь, должно быть, считает себя счастливым, хотя, по сути дела, счастлив не был. (Его поджидала, затаившись в будущем, все озаряющая, главная в его жизни ночь: ночь, когда он наконец увидит свое собственное лицо, ночь, когда он наконец услышит свое имя. Если понять ее как следует, то эта ночь исчерпывает всю его жизнь; вернее сказать, один миг этой ночи, один поступок этой ночи, ибо поступки наши — символы нас самих.) Судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в *одном-единственном мгновении* — в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Рассказывают, что Александр Македонский увидел отражение[89] своего ратного будущего в сказочной истории Ахилла; Карл XII Шведский — в истории Александра Македонского. К Тадео Исидоро Крусу, не умевшему читать,

[89] Примечания: 89

..Александр Македонский увидел отражение... — Плутарх, «Александр», VIII; XV; XXVI. *(прим. Б. Дубин)*

откровение явилось не из книги[90] — он увидел себя в другом человеке, попавшем в суровую переделку. А было так.

В последние дни июня 1870 года он получил приказ поймать злоумышленника, виновного перед правосудием в двух смертях. Человек этот бежал из войск, которыми командовал на южной границе полковник Бенито Мачадо[91]; однажды по пьянке в публичном доме он убил негра, а в другой раз, тоже во время попойки, — подвернувшегося под руку сторонника Росаса; в сообщении указывалось, что родом он из Лагуна Колорада. Именно в этом месте сорок лет назад беда настигла повстанцев, и тела их остались там на радость воронью и бродячим псам; оттуда вышел Мануэль Меса, которого казнили на площади Победы под грохот барабанов, старавшихся заглушить его гнев; отсюда же был и неизвестный, что зачал Круса, а сам погиб во рву от смертельного

---

[90] Примечания: 90

…откровение явилось не из книги… — Как показывает финал рассказа, речь идет как раз о книге — поэме Х. Эрнандеса «Мартин Фьерро» (I; IX), причем созданной позднее событий, которые описаны в рассказе. Тем самым Фьерро ретроспективно вводится в них как «реальный» участник. *(прим. Б. Дубин)*

[91] Примечания: 91

Бенито Мачадо (1823–1909) — полковник аргентинской армии, участник крупнейших сражений в период гражданских войн в стране. *(прим. Б. Дубин)*

удара саблей, воевавшей в Перу и в Бразилии. Крус позабыл название места, но теперь с легким и необъяснимым беспокойством узнал его. Преступник, уходя верхом на лошади, петлял по зарослям; и все-таки солдаты окружили его ночью двенадцатого июля. Он схоронился в высоком жнивье. Тьма была почти непроглядная; Крус со своими людьми, спешившись, осторожно подступал к зарослям, в колеблющейся глубине которых спал или подстерегал их неведомый человек. Закричала птица-чаха; Тадео Исидоро Крусу показалось, будто однажды он уже пережил этот миг. Преступник вышел из укрытия, чтобы сойтись с ними в открытом бою. Он показался Крусу ужасным; отросшие волосы и пегая борода будто съели его лицо. По причине совершенно очевидной я не стану описывать их схватку. Достаточно сказать, что преступник тяжело ранил или убил нескольких людей Круса. А Крус, сражаясь в потемках (это его тело сражалось в потемках), начал прозревать. И понял, что одна судьба ничем не лучше другой, но каждый человек должен почитать то, что несет в себе. И что нашивки и форма только мешают и путают. Он понял, что его исконная участь — участь волка, а не собаки из своры; и еще понял, что тот,

другой, — это он сам. Над необъятной равниной светало; Крус бросил оземь форменную фуражку и, закричав, что он не пойдет на злодеяние и не станет убивать храброго человека, стал биться против своих солдат вместе с беглым Мартином Фьерро.

Эмма Цунц[92]
Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

Четырнадцатого января 1922 года Эмма Цунц, вернувшись с ткацкой фабрики Тарбуха и Левенталя, обнаружила на полу прихожей письмо с бразильской маркой, из которого узнала, что ее отец умер. При первом взгляде марка и почтовый штемпель ввели ее в заблуждение, но незнакомый почерк сразу же насторожил. На листке бумаги оказалось всего восемь или десять корявых строчек; Эмма прочитала, что сеньор Майер по ошибке принял слишком большую дозу веронала и скончался третьего января в больнице Баже. Сообщение было подписано соседом отца по палате, неким Фейном или Файном из Риу-Гранди, который не подозревал, что обращается

---

[92] Примечания: 92

Имя героини отсылает к флоберовской госпоже Бовари, а фамилия, возможно, — к немецкому богослову, основателю иудаики, хорошему знакомому Генриха Гейне Леопольду Цунцу (1794–1886).

По рассказу сняты фильмы аргентинского режиссера Леопольдо Торре Нильсона («Дни ненависти», 1954), французских кинорежиссеров Алена Магру (1969) и Бенуа Жако (1992). Аргентинский писатель Мартин Коан (р. 1967) позднее «переписал» новеллу, сделав заглавным героем шведского моряка с «Нордстьёрнана» (рассказ «Эрик Григ», 1998). *(прим. Б. Дубин)*

к дочери умершего.

Эмма выронила письмо. Она чувствовала дурноту, ноги подкашивались, затем пришло ощущение безотчетной вины и нереальности происходящего, ее охватил холод и страх, затем ей захотелось, чтобы уже настало завтра. Но она тут же поняла, что это желание тщетно, потому что смерть отца была и останется впредь единственным событием в мире. Эмма подобрала листок и пошла к себе в комнату. Она спрятала письмо, словно предчувствуя, как повернутся события. Может быть, она начинала смутно догадываться о них, о том, что с ней станет.

В сгущающихся сумерках Эмма до самой ночи оплакивала самоубийство Мануэля Майера, который в давние счастливые дни носил имя Эммануэль Цунц. Эмма вспоминала летнее время в загородном доме неподалеку от Гуалегуая, вспоминала (вернее, пыталась вспомнить) мать, вспоминала домик в Ланусе, который пошел с молотка, желтые ромбы оконного стекла, вспоминала тюремный автомобиль, постигшее их бесчестье, наглые анонимки, разоблачавшие «растратчика-кассира», вспоминала (хотя и не забывала этого никогда), как отец в последний вечер поклялся ей, что вор — Левенталь. Левен-

таль — Аарон Левенталь, в прежние времена управляющий фабрики, а теперь ее совладелец. Эмма хранила тайну шесть лет. Она не поделилась ею ни с кем, даже со своей лучшей подругой Эльзой Урштейн. Может быть, она боялась оскорбительного недоверия; может быть, ей верилось, что тайна связывает ее с отцом. Левенталь не подозревал, что она знает; это ничтожное обстоятельство давало Эмме ощущение силы.

Она не спала всю ночь, и к тому времени, как забрезжила заря, высветлив прямоугольник окна, у нее сложился план. Она сделала все, чтобы казавшийся бесконечным день ничем не отличался от обычного. На фабрике шли разговоры о забастовке; Эмма, как всегда, высказалась против любых насильственных действий. В шесть часов, закончив работу, она отправилась с Эльзой в женский клуб, чтобы записаться на занятия в гимнастическом зале и бассейне. Ей пришлось повторять и произносить по буквам свое имя и фамилию, пришлось выслушивать пошлые шутки, которыми сопровождалась эта процедура. Вместе с Эльзой и младшей из сестер Кронфусс они договорились, в какой кинотеатр пойдут в воскресенье вечером. Потом зашел разговор о кавалерах, Эмма не принимала в нем участия,

но никто этого от нее и не ждал. В апреле ей исполнилось девятнадцать, но мужчины до сих пор вызывали у нее почти патологический страх… Вернувшись домой, она приготовила суп из тапиоки и немного овощей, рано поужинала, легла и заставила себя заснуть. Так, в работе, обыденно прошла пятница, пятнадцатое, день накануне.

В субботу ее разбудило нетерпение. Нетерпение, а не тревога и какое-то облегчение при мысли, что этот день наконец настал. Не нужно было ничего задумывать, ничего воображать; через несколько часов ей предстоит самое простое — действия. Она прочитала в газете «Пренса», что «Нордштьернан» из Мальме выходит в море сегодня ночью из дока номер три; позвонила Левенталю и намекнула, что хотела бы рассказать ему тайком от всех кое-что о забастовке, и пообещала прийти в контору, когда стемнеет. Голос Эммы дрожал, что выдавало доносчицу.

Больше ничего знаменательного в то утро не произошло. Эмма проработала до двенадцати, затем поговорила с Эльзой и Перлой Кронфусс о подробностях предстоящей воскресной прогулки. После обеда она прилегла и с закрытыми глазами повторила про себя составленный план. Подумала, что конец будет менее ужасен, чем

начало, и даст ей почувствовать вкус победы и справедливости. Вдруг она в тревоге вскочила и подбежала к комоду. Открыла ящик; под фотографией Милтона Силлса[93], там, куда она сунула его позавчера, лежало письмо Файна. Никто не должен его увидеть; она принялась перечитывать его и разорвала.

Пытаться хоть в какой-то мере соотнести все случившееся тем вечером с реальностью трудно и, может быть, напрасно. Событиям чудовищным присуща ирреальность; ирреальность, которая, кажется, смягчает их ужас, а иной раз — усиливает. Как сделать правдоподобным поступок, в который почти не верит та, что совершила его? Как восстановить ту сумятицу, которую сегодня память Эммы отторгает, которая приводит ее в замешательство? Эмма жила в квартале Альмагро, на улице Линьерса; нам известно, что ближе к вечеру она направилась к порту. Возможно, на печально известной Пасео де Хулио она увидела себя отраженной во множестве зеркал, освещенной огнями, раздеваемой жадными взглядами,

---

[93] Примечания: 93

Милтон Силлс (1882–1930) — популярный короткое время американский актер, «красавчик» из мелодрам и вестернов немого кино. Борхес упоминает о нем в рецензии на фильм аргентинского кинорежиссера Марио Соффичи по рассказам Орасио Кироги «Пленники земли» (опубликована в журнале «Юг» в 1939 г.). *(прим. Б. Дубин)*

но, скорее всего, сначала она блуждала незамеченной в равнодушной толпе… Она заглянула в два или три бара, понаблюдала уловки и хитрости других женщин. Наконец встретила людей с «Нордштьернана». Того, что был помоложе, она отвергла, боясь, что он может пробудить в ней какую-то нежность, и остановила свой выбор на другом, мужлане, чуть ли не ниже ее ростом, — чтобы ужас предстоящего не потерял остроты, не был смягчен ничем. Он повел ее в ворота, потом в темный подъезд, по крутой лестнице, потом в прихожую (где было окно с такими же ромбами, как в их домике в Ланусе) и по коридору в комнату; дверь за ними захлопнулась. Тяжкие события существуют вне времени, потому что словно отсекают недавнее прошлое от будущего и потому что кажутся разъятыми на части, не слагаются в целое.

Подумала ли Эмма Цунц в какое-то мгновение этого безвременья, в сумятице отрывочных, невыносимых ощущений хоть один-единственный раз об умершем, ради которого была принесена эта жертва? Мне кажется, подумала, и в этот момент ее отчаянный замысел оказался под угрозой. Подумала (не могла не подумать), что отец совершал с ее матерью то страшное, что

совершают с ней сейчас. Она подумала об этом с неким удивлением и тут же провалилась в спасительный полуобморок. Мужчина, швед или финн, не говорил по-испански; для Эммы он был орудием, как и она для него, но она служила ему для наслаждения, а он ей — для справедливости.

Оказавшись одна, Эмма не сразу открыла глаза. На столике с лампой лежали оставленные мужчиной деньги. Эмма привстала и разорвала их, как прежде разорвала письмо. Рвать деньги грешно, все равно что бросать хлеб на землю; сделав это, Эмма тут же почувствовала раскаяние. Проявить гордыню в такой день… Страх растворился в физической боли, в отвращении. Отвращение и боль нарастали, но Эмма медленно встала и принялась одеваться. Все в комнате казалось померкшим; за окном темнело. Эмме удалось выйти незамеченной; на углу она села в трамвай, который шел в западный район. В соответствии со своим планом она выбрала переднее сиденье, чтобы никто не видел ее лица. Во время этой обычной поездки по городу она убедилась, что из-за случившегося мир не рухнул; возможно, это придало ей сил. Она ехала мимо запущенных печальных кварталов, замечая и тут же забывая их, и вышла из трамвая у одного из переулков,

прилегавших к улице Уорнеса. Удивительным образом изнеможение Эммы обернулось ее силой, вынуждая сосредоточиться на деталях предстоящего и не думать о его сути и цели.

Аарон Левенталь, по общему мнению, был человеком солидным, а по мнению немногих близких — скрягой. Он обитал один на верхнем этаже фабричного здания. Живя в захудалом пригороде, он опасался воров и держал во дворе фабрики огромного пса, а в ящике письменного стола хранил револьвер, о чем было известно всем и каждому. В прошлом году он благопристойно оплакал неожиданную кончину жены — урожденной Гаусс, принесшей ему порядочное приданое! — но истинной его страстью были деньги. Он сознавал, что способен скорее копить деньги, чем зарабатывать их, и втайне стыдился этого. Он был очень религиозен; он верил, что заключил с Богом тайный договор, который позволяет обходиться молитвами и благочестием, не требуя от него добропорядочности. Лысый, рыжебородый, тучный, с дымчатым пенсне на носу, одетый в траур, он стоял у окна в ожидании конфиденциального сообщения работницы Цунц.

Он увидел, как она толкает ворота (которые он специально оставил незапертыми) и идет по тем-

ному двору. Увидел, как она обходит рвущегося на цепи пса. Губы Эммы шевелились, словно она потихоньку молилась; они упрямо повторяли фразу, которую сеньор Левенталь услышит перед смертью.

Все получилось не так, как предполагала Эмма. Со вчерашнего утра она не раз представляла себе, как направит на него мощный револьвер, вынудив мерзавца признаться в своей мерзкой вине, и откроет ему свой смелый маневр, который позволит высшей справедливости восторжествовать над справедливостью людской. (Не от страха, а лишь оттого, что Эмма сознавала себя орудием справедливости, она не хотела понести наказание.) Затем — единственная пуля в грудь скрепит печатью судьбу Левенталя. Но все получилось не так.

Увидев Аарона Левенталя, Эмма ощутила желание более сильное, чем стремление отомстить за отца, более безотлагательное — покарать этого человека за поругание, которому она подверглась из-за него. Она не могла не убить его после пережитого позора. Да и времени разыгрывать спектакль у нее не было. Она робко села, попросила прощения у Левенталя, сослалась (как и подобает доносчице) на свой долг и преданность,

назвала какие-то имена, намекнула на несколько других и замолчала, словно испугавшись. Попросила Левенталя принести стакан воды. Когда Левенталь, не очень веря в эти капризы, но снисходя к ним, вернулся из столовой, Эмма уже извлекла из ящика увесистый револьвер. Она дважды нажала на спусковой крючок.

Грузное тело рухнуло, словно звук выстрелов и дым разорвали его, стакан разбился, лицо глядело на нее гневно и удивленно, рот изрыгал испанские и еврейские ругательства. Брань не умолкала, и Эмме пришлось выстрелить еще раз. Во дворе цепной пес заходился лаем; вдруг кровь хлынула из сыпавших ругательствами губ, пятная бороду и одежду. Эмма начала произносить заготовленное обвинение («Я отомстила за отца, и меня не за что карать…»), но не докончила, потому что сеньор Левенталь был мертв. Она так и не узнала, удалось ли ему понять хоть что-то.

Злобный лай напомнил ей, что нельзя терять время. Она разворошила диван, расстегнула одежду на трупе, подняла забрызганное пенсне и положила на картотеку. Затем взяла телефонную трубку и повторила то, что столько раз повторяла про себя, этими же или другими словами: «Произошло невероятное… Сеньор Левенталь по-

просил меня прийти под предлогом забастовки… Он изнасиловал меня, я его убила…»

История действительно невероятная, но в нее поверили все, поскольку, по сути, она была правдивой. В тоне рассказа Эммы Цунц звучала правда, правдой было ее целомудрие, правдой — ненависть. Правдой было и поругание, которому она подверглась; не соответствовали истине лишь обстоятельства, время и одно-два имени.

Дом Астерия
Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

Марии Москера Истмен[94]
И царица произвела на свет сына, которого назвали Астерием[95].

Аполлодор. Библиотека, III, I

Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно)[96] открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто

---

[94] Примечания: 94

Мария Москера Истмен — знакомая Борхеса. *(прим. Б. Дубин)*

[95] Примечания: 95

Астерий («Звездный») — имя человекобыка Минотавра, рожденного критской царицей Пасифаей от посланного Посейдоном быка (или от самого Посейдона); таким образом, убийца Тесей приходится герою братом по отцу, а помогшая ему в том Ариадна — сестрой по материнской линии. Образ Минотавра в лабиринте — один из наиболее постоянных у Борхеса. *(прим. Б. Дубин)*

[96] Примечания: 96

В оригинале — «четырнадцать», но более чем достаточно оснований считать, что в устах Астерия это числительное означает «бесконечность».

хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте[97].) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость — будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу; и если вернулся еще до наступления ночи, то потому, что меня испугали лица простонародья — бесцветные и плоские, как ладонь. Солнце уже зашло, но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы означали, что я был узнан. Люди молились, убегали, падали на колени, некоторые карабкались к подножию храма Двойной секиры[98], другие хватали камни. Кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром моя мать была царицей, я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого.

---

[97] Примечания: 97

…похожий дом… в Египте. — Фаюмский лабиринт, одно из семи чудес света. *(прим. Б. Дубин)*

[98] Примечания: 98

Двойная секира — священный топор «лабрис», с названием которого связано слово «лабиринт». *(прим. Б. Дубин)*

Дело в том, что я неповторим. Мне неинтересно, что один человек может сообщить другим; как философ, я полагаю, что с помощью письма ничто не может быть передано. Эти раздражающие и пошлые мелочи претят моему духу, который предназначен для великого; я никогда не мог удержать в памяти отличий одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом — дни и ночи такие долгие.

Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и делаю вид, что меня ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываюсь спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша (порой я и в самом деле засыпаю, а когда открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня). Но больше всех игр мне нравится игра в другого Астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом. Чрезвычайно почтительно я говорю ему: «Давай вернемся к тому углу», или: «Теперь пойдем в другой двор», или: «Я так и думал, что тебе понравится этот карниз», или: «Вот это чан,

наполненный песком», или: «Сейчас увидишь, как подземный ход раздваивается». Временами я ошибаюсь, и тогда мы оба с радостью смеемся.

Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много раз, одна часть совсем как другая. Нет одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть четырнадцать (бесконечное число) кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир. Однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня, я выхожу на улицу и смотрю на храм Двойной секиры и на море. Я не мог этого понять, пока однажды ночью мне не привиделось, что существует четырнадцать (бесконечное число) морей и храмов. Все повторяется много раз, четырнадцать раз, но две вещи в мире неповторимы: наверху — непонятное солнце; внизу — я, Астерий. Возможно, звезды, и солнце, и этот огромный дом созданы мной, но я не уверен в этом.

Каждые девять лет в доме появляются девять человек, чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу. Вся процедура занимает лишь несколько минут. Они падают один за дру-

гим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются, и их тела помогают мне отличать эту галерею от других. Мне неизвестно, кто они, но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель. С тех пор меня не тяготит одиночество, я знаю, что мой избавитель существует и в конце концов он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги. Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой избавитель? — спрашиваю я себя. Будет ли он быком или человеком? А может, быком с головой человека? Или таким, как я?

Утреннее солнце играло на бронзовом мече. На нем уже не осталось крови.

— Поверишь ли, Ариадна? — сказал Тесей. — Минотавр почти не сопротивлялся.

Вторая смерть[99]
Перевод А. Рейтблата

Года два назад (письмо куда-то задевалось) Ганнон[100] написал мне из Гуалегуайчу, предупредив, что на днях высылает, кажется впервые переведенное на испанский, стихотворение Ралфа Уолдо Эмерсона «The Past»[101], а в приписке добавив: дон Педро Дамиан, которого я должен помнить, умер прошлой ночью от воспаления легких. Истрепанный лихорадкой, он в бреду еще раз пережил кровавый день под Масольером[102]. Последнее не удивило меня, скорее, наоборот, трудно было ожидать другого, ведь Дамиан встал

---

[99] Примечания: 99

В рассказе, первоначально называвшемся «Искупление», сложно преломились воспоминания Борхеса о его деде Исидоро Асеведо де Лаприде (1835–1905). Не исключено, что нынешнее заглавие — отзвук строки из стихотворения Т. С. Элиота «Поклонение волхвов» (1927): «I should be glad of another death». *(прим. Б. Дубин)*

[100] Примечания: 100

Патрисио Ганнон — аргентинский литератор, переводчик англоязычной словесности. Рецензию на его перевод из Чосера Борхес опубликовал в 1944 г. в журнале «Юг». *(прим. Б. Дубин)*

[101] Примечания: 101

«Прошлое» *(англ.)*.

[102] Примечания: 102

Масольер — место сражения 1 сентября 1904 г. в ходе революции в

Уругвае. *(прим. Б. Дубин)*

под знамена Апарисио Саравии мальчишкой девятнадцати-двадцати лет. Восстание 1904 года застигло его то ли в Рио-Негро, то ли в Пайсанду батраком на ферме. Вообще-то, Педро Дамиан был уроженцем Гуалегуая в провинции Энтре-Риос, но снялся оттуда вслед за друзьями, такой же отчаянный и такой же темный, как они. Участвовал в нескольких переделках и в решающем бою, а вернувшись домой в 1905-м, с безропотным упорством продолжил гнуть спину на той же пашне. Насколько знаю, больше он со старого места не трогался. Последние тридцать лет коротал в одиночестве в лиге-другой от Ньянкая; среди этой глуши как-то после полудня я и заговорил (а скорее, попытался заговорить) с ним году в сорок втором. Человек он был неразговорчивый, серый. Шум и ярость[103] битвы под Масольером исчерпывали его биографию, понятно, что в час смерти он заново пережил именно их… Я знал, что больше не увижу Дамиана, и попробовал вспомнить его, но зрительная память у меня никуда не годится, и мне припомнился только сделанный когда-то Ганноном снимок. Но и в этом ничего странного нет, поскольку самого

[103] Примечания: 103

Шум и ярость… — Шекспир. Макбет, V, 5; позднее — заглавие романа Уильяма Фолкнера (1929). *(прим. Б. Дубин)*

Дамиана я видел лишь однажды, к тому же — в начале сорок второго, а фотографию его — много раз. Ганнон прислал мне фото, я его куда-то сунул и с тех пор не ищу. Больше того — боюсь найти.

Другой случай произошел через несколько месяцев в Монтевидео. Бред и агония мужчины из Энтре-Риос подсказали мне фантастическую новеллу о разгроме под Масольером. Эмир Родригес Монегаль[104], которому я изложил сюжет, направил меня с запиской к полковнику Дионисио Табаресу, участвовавшему в той кампании. Полковник принял меня после ужина. Раскачиваясь в кресле посреди дворика, он начал беспорядочно и пылко вспоминать былые времена. Говорил о запаздывающих боеприпасах и заморенных лошадях, о людях землистого цвета, ткущих в полусонном марше бесконечные лабиринты, о Саравии, который имел возможность ворваться в Монтевидео, но обошел его стороной, «поскольку гаучо боятся города», о людях, которым снимали голову по самые плечи, о гражданской войне, в его рассказе все больше напоминавшей не проти-

[104] Примечания: 104

Эмир Родригес Монегаль (1921–1985) — уругвайский историк литературы, составитель нескольких изданий забытых борхесовских новелл и эссе («Оставленное под спудом», «Собрание вымыслов»), автор подробной биографии Борхеса, ряда работ о его творчестве. *(прим. Б. Дубин)*

востояние двух армий, а сон палача. Говорил об Ильескас, о Тупамбаэ[105], о Масольере. Периоды катились легко и живо, я понял, сколько раз он уже описывал эти события, и забеспокоился, остались ли за словами хоть какие-то воспоминания. В первую же паузу я вставил имя Дамиана.

— Дамиан? Педро Дамиан? — переспросил полковник. — Как же, был такой. Индейский молокосос, ребята звали его Дайманом. — Он громко рассмеялся, но тут же оборвал себя, притворно или взаправду смутясь.

Уже другим тоном он добавил, что война как женщина: она испытывает мужчину и никто не знает себя, пока не побывал в бою. Иной на вид не из храбрецов, а на поверку оказывается хоть куда, и наоборот. Как оно и случилось с беднягой Дамианом, который в забегаловках бахвалился, соря только что полученными «белыми» деньгами[106], а под Масольером сдрейфил. В перестрелках с «дублеными», как их звали, он еще держался, но, когда сходятся войска и грохочут

---

[105] Примечания: 105

Ильескас, Тупамбаэ — места боев в ходе уругвайской революции 1904 г. *(прим. Б. Дубин)*

[106] Примечания: 106

…«белыми» деньгами… — «Белыми» («бланкос») называли сторонников уругвайской партии федералистов; их противников-либералов именовали *«колорадос»* («красными»). *(прим. Б. Дубин)*

пушки и каждый нутром чувствует, что эти пять тысяч собрались здесь, чтобы его прикончить, — это совсем другой разговор… Бедный парень, мыл себе своих овец и вдруг пустился на подвиги.

Как ни странно, после сказанного Табаресом мне было не по себе. Я ждал совсем другого. Во время той давней встречи я за несколько часов невольно создал из старого Дамиана что-то вроде кумира. Рассказ Табареса сровнял его с землей. Разом стала понятна замкнутость Дамиана, его непробиваемое одиночество: им двигала не застенчивость, а стыд. Напрасно я твердил себе, что человек, не находящий места, раз в жизни проявив слабость, куда многограннее и интереснее безупречного смельчака. Лорд Джим[107] или Разумов, мелькало у меня, заставляют задуматься куда глубже, чем гаучо Мартин Фьерро. Все так, но Дамиан был гаучо, а потому — в особенности для гаучо с Восточного берега — как бы самим Мартином Фьерро. То, о чем говорил и умалчивал Табарес, отдавало каким-то неистребимым арти-

[107] Примечания: 107

Лорд Джим — заглавный герой романа Джозефа Конрада (1900); *Разумов* — герой его романа «Глазами Запада» (1911), предатель народовольческого движения. *(прим. Б. Дубин)*

гизмом[108] — верой (скорее всего, недоступной для доводов разума), будто уругвайцы стихийнее и, стало быть, храбрее моих соотечественников… Помню, мы простились в тот вечер с особым, подчеркнутым дружелюбием.

Нехватка одной-двух подробностей в моем фантастическом рассказе (который упорно не получался) зимой снова привела меня к полковнику Табаресу. На этот раз я застал у него незнакомого господина в летах — доктора Хуана Франсиско Амаро из Пайсанду, тоже участвовавшего в восстании Саравии. Разговор, понятно, опять зашел о Масольере. Амаро рассказал несколько случаев, потом неторопливо, как бы размышляя вслух, добавил:

— Помню, когда мы заночевали в «Санта-Ирене», прибилось к нам несколько человек. Француз-ветеринар, он потом прямо перед боем умер, а еще — парнишка из Энтре-Риос, стригаль овец, Педро Дамиан его звали.

Я, усмехнувшись, не сдержался.

— Как же, — вставил я. — Тот аргентинец, который сплоховал под пулями.

---

[108] Примечания: 108

Артигизм — подчеркивание национального превосходства уругвайцев (по имени национального героя Уругвая Хосе Хервасио Артигаса). *(прим. Б. Дубин)*

И замер: оба смотрели на меня в полном недоумении.

— Вы что-то путаете, сеньор, — выговорил наконец Амаро. — Педро Дамиан погиб дай бог каждому. Было четыре часа пополудни. Колорадос шли с холма, наши встречали их пиками. Дамиан с криком рвался вперед, когда пуля попала ему в самое сердце. Он еще качнулся в седле, замолк и рухнул наземь, прямо под копыта. Лежал мертвый, а последняя атака под Масольером мчалась над ним. Надо же, молодец, ему ведь и двадцати не было.

Конечно, он говорил о каком-то другом Дамиане, но я, не знаю почему, поинтересовался, что тот выкрикивал.

— Ругательства, — вступил в разговор полковник, — как всегда в атаке.

— Может быть, — ответил Амаро, — но еще он кричал «За Уркису!».

Повисло молчание. Потом полковник пробормотал:

— Как будто не под Масольером был, а под

Каганчей[109] или в Индиа-Муэрте[110], лет сто назад.

И в явном замешательстве закончил:

— Я командовал тем отрядом, но ни про какого Дамиана, клянусь честью, слыхом не слыхивал.

Как мы ни бились, полковник Дамиана не вспомнил.

В Буэнос-Айресе я еще раз столкнулся с подобной забывчивостью. В подвалах английской книжной лавки Митчелла, возле одиннадцати сказочных томов Эмерсона, я как-то вечером встретил Патрисио Ганнона. И спросил, как поживает его перевод «The Past». Он и не думал браться за эту вещь, отозвался Патрисио, испанская словесность и без того скучна, а уж Эмерсон в ней совершенно лишний. Я напомнил, что он сам обещал мне этот перевод в том письме, где еще рассказывал о смерти Дамиана. Ганнон поинтересовался, кто это. Я безуспешно принялся объяснять. И в ужасе понял, что он слушает меня с удивлением, а потому поспешил перевести раз-

---

[109] Примечания: 109

Каганча — место победы 29 декабря 1839 г. уругвайских сил Фруктуосо Риверы над вторгшимися в страну войсками Паскуаля Эчагуэ. *(прим. Б. Дубин)*

[110] Примечания: 110

Индиа-Муэрте. — Здесь 27 марта 1845 г. войска Риверы были разбиты армией Уркисы. *(прим. Б. Дубин)*

говор на врагов Эмерсона, поэта более сложного, блестящего и, уж конечно, более оригинального, чем бедняга Эдгар По.

Еще несколько деталей. В апреле я получил письмо от полковника Дионисио Табареса; помрачение его рассеялось, и теперь он отлично помнил парня из Энтре-Риос, который скакал в атаке под Масольером в первых рядах и которого той же ночью хоронили у подножия холма его люди. В июле я проезжал через Гуалегуайчу, но до фермы Дамиана не добрался, поскольку показать туда дорогу было некому. Хотел поговорить со скототорговцем Диего Абароа, который был с Дамианом до последней минуты, но тот и сам этой зимой умер. Я попытался припомнить лицо Дамиана; несколько месяцев спустя, листая какой-то альбом, я выяснил, что всплывавшие в памяти сумрачные черты принадлежали знаменитому тенору Тамберлику[111] в роли Отелло.

Теперь перейдем к догадкам. Наиболее простая, но и наименее удовлетворительная в том, что существовали два разных Дамиана — трус, скончавшийся в Энтре-Риос в 1946 году, и храбрец, павший под Масольером в 1904-м. Остается непо-

---

[111] Примечания: 111

Энрико Тамберлик (1820–1889) — итальянский певец, драматический тенор. *(прим. Б. Дубин)*

нятным только одно: странное происшествие с памятью полковника Табареса, его забывчивость, которая с такой быстротой стерла не только образ, но даже имя того, о ком он совсем недавно рассказывал. (Отгоняю, вернее, пытаюсь отогнать самую простую возможность — что при первой нашей встрече всего-навсего задремал.) Интереснее сверхъестественное допущение Ульрики фон Кюльманн. Педро Дамиан, считает она, погиб в бою, но в последнюю минуту взмолился Богу, чтобы тот вернул его в Энтре-Риос. Прежде чем ниспослать ему эту милость, Господь на секунду заколебался, но именно в эту секунду просящий умер, так что люди видели, как он рухнул замертво. Бог, который не в силах перекроить само прошлое, но может изменить его образ, сделал так, что смерть приняли за обморок, и вернул призрак парня из Энтре-Риос в родные места. Вернул, важно не забывать, призрак. Тот дожил свой век одиночкой, без женщины, без друзей, дорожа и владея всем вокруг, но как бы на расстоянии, через стекло[112]. Потом он, скажем так, умер, и его

[112] Примечания: 112
…через стекло. — 1 Кор 13: 12. *(прим. Б. Дубин)*

зыбкий образ растворился, будто вода в воде[113]. Эта, пусть и ошибочная, догадка рано или поздно должна была навести меня на правильную (ту, которую я сегодня считаю правильной); она и проще, и необычней. Каким-то чудом я обнаружил подсказку в трактате «De Omnipotentia»[114] Петра Дамиани[115], на который меня натолкнули два стиха из двадцать первой песни «Рая», посвященных как раз проблеме тождества. В пятой главе Петр Дамиани, вопреки Аристотелю и Фредегару Турскому[116], утверждает, что Бог может сделать бывшее небывшим. Я вникал в эти давние богословские споры и начал понимать трагическую историю дона Педро Дамиана.

Объясняю ее так. Дамиан перетрусил в битве под Масольером, после чего посвятил оставшиеся

---

[113] Примечания: 113

…вода в воде. — Образ из гностического Евангелия от Филиппа (25); не раз повторяется у Борхеса (стихотворение «Второй вариант Протея» и др.). *(прим. Б. Дубин)*

[114] Примечания: 114

«О всемогуществе» *(лат.).*

[115] Примечания: 115

Петр Дамиани (ок. 1007–1072) — итальянский богослов, представитель схоластики, причислен к лику святых, помещен на седьмом небе — небе созерцателей — в XXI песни дантовского «Рая»; цитируемый пассаж — из четвертой, а не из пятой главы его книги. Борхес опирается здесь на труд французского философа Этьена Анри Жильсона «Дух средневековой философии» (1932). Новейшие исследования (И. Альмейда)

выявляют двойственность в историческом образе самого святого; более того, возможно, Борхес соединил в своей новелле Петра Дамиани с другим известным подвижником эпохи Пьетро дельи Онести по прозвищу Петр Грешник. *(прим. Б. Дубин)*

[116] Примечания: 116

Фредегар Турский — оговорка Борхеса (не исключено — преднамеренная контаминация): в данном контексте речь может идти либо о Беренгаре, либо о Фридигизии Турском. *(прим. Б. Дубин)*

годы тому, чтобы искупить свой позор. Вернулся в Энтре-Риос, в жизни ни на кого не поднял руку, никого не «полоснул» и не искал славы удальца, только все яростнее бился на полях Ньянкая с дикими кустами и лошадьми. Он, сам того не ведая, день за днем готовил будущее чудо. В глубине души его не отпускала мысль: «Если судьба пошлет мне другую битву, я себя не уроню». Сорок лет он жил тайной надеждой, и судьба снизошла к нему в час смерти. Снизошла в образе бреда, но ведь еще греки знали, что все мы — лишь призраки чьего-то сна[117]. В агонии он еще раз пережил свою прежнюю битву и вел себя как мужчина, возглавив последнюю атаку и получив пулю прямо в сердце. Так, силою многолетней страсти Педро Дамиан сумел в 1946 году погибнуть при разгроме под Масольером, который случился в самом конце зимы 1904-го.

«Свод богословия»[118] не признает, будто Бог может сделать бывшее небывшим, но ни слова не

---

[117] Примечания: 117

…все мы — лишь призраки чьего-то сна. — Пиндар. Восьмая пифийская ода, 96. *(прим. Б. Дубин)*

[118] Примечания: 118

«Свод богословия» — один из основных трудов Фомы Аквинского; цитата — из его I книги (25, 4), где Аквинат отсылает к «Никомаховой этике» Аристотеля, как тот, в свою очередь, ссылался на афинского трагика Агафона. *(прим. Б. Дубин)*

говорит о запутанном хитросплетении причин и следствий, столь всеобъемлющем и проникновенном, что, по всей вероятности, в прошлом нельзя тронуть даже пустяка, чтобы не упразднить настоящее. Изменяя прошлое, изменяешь не просто какой-то отдельный факт — вместе с ним перечеркиваешь все его следствия, а они бесконечны. Другими словами, создаешь две разные истории мира. В первой (назовем ее так) Педро Дамиан скончался в Энтре-Риос в 1946 году, во второй — пал под Масольером в 1904-м. Мы живем сейчас во второй, но упразднили первую не сразу, откуда и упоминавшиеся неувязки. Для полковника Табареса это прошло в два этапа: сначала он вспомнил Дамиана как труса, потом начисто забыл о его существовании, а затем помнил уже только его мгновенную смерть. То же самое — со скототорговцем Диего Абароа: думаю, он умер, не вынеся разноречивых воспоминаний о Педро Дамиане.

Кажется, подобной опасности едва удалось избежать и мне. Я обнаружил и записал случай, людям, как правило, недоступный, своего рода издевку над их разумом, и лишь некоторые обстоятельства облегчают груз этой жуткой привилегии. Во-первых, я не уверен, что описал

точно; думаю, в рассказ вкрались и сомнительные воспоминания. Думаю, что Педро Дамиан (если он вообще существовал) звался не Педро Дамианом, а я вспоминаю его под этим именем, только чтобы задним числом уверить себя, будто всю историю мне подсказали доводы Петра Дамиани. То же — со стихами из первого абзаца, которые посвящены непреложности прошедшего. Году в 1951-м я буду считать, что написал фантастическую новеллу, а сам всего лишь передал действительный случай. Не так ли простодушный Вергилий две тысячи лет назад думал, будто возвещает рождение человека, а предсказал явление Бога?[119]

Бедный Дамиан! Двадцатилетним парнем смерть прибрала его во время жалкой, безвестной войны, в ходе никчемной стычки, но он достиг того, к чему стремился всем сердцем, чего так долго искал, а большего счастья на свете, вероятно, нет.

---

[119] Примечания: 119

...Вергилий... предсказал явление Бога? — Имеется в виду IV эклога из «Буколик» Вергилия, предсказывающая наступление золотого века. Уже Фульгенцием в VII в. это место было истолковано как пророчество о пришествии Христа, откуда и высокий авторитет Вергилия в Средние века, значимый еще для Данте. *(прим. Б. Дубин)*

Deutsches Requiem[120]
Перевод Б. Дубина

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться.

Иов 13: 15

Меня зовут Отто Дитрих цур Линде. Один из моих предков, Кристоф цур Линде, пал в кавалерийской атаке, решившей победный исход боя при Цорндорфе[121]. Прадед с материнской стороны Ульрих Форкель погиб в Маршенуарском[122] лесу от пули французского ополченца в последние дни 1870 года; капитан Дитрих цур Линде, мой отец, в 1914-м отличился под Намюром[123],

---

[120] Примечания: 120

Немецкий реквием *(нем.).*

«Deutsches Requiem» (1868) — оратория И. Брамса.

Новейшие исследователи (В. Фариас, А. Луи и др.) сближают героя-рассказчика с немецким писателем Эрнстом Юнгером (1895–1998); его эссе «Война как внутреннее переживание» Борхес рецензировал в 1937 г. в журнале «Очаг». *(прим. Б. Дубин)*

[121] Примечания: 121

Цорндорф — место ожесточенного сражения прусских войск и русской армии в ходе Семилетней войны 1756–1763 гг. *(прим. Б. Дубин)*

[122] Примечания: 122

Маршенуар — французское селение, место боев в ходе франко-прусской войны 1870–1871 гг. *(прим. Б. Дубин)*

[123] Примечания: 123

Намюр — город в Бельгии, захвачен германскими войсками в августе 1914 г. *(прим. Б. Дубин)*

а двумя годами позже — при форсировании Дуная[124]. Что до меня, я буду расстрелян как изверг и палач. Суд высказался по этому поводу с исчерпывающей прямотой, я с самого начала признал себя виновным. Утром, лишь только тюремные часы пробьют девять, я вступлю во врата смерти; естественно, я думаю сейчас о своих предках, ведь я уже почти рядом с их тенями, в известном смысле я и есть они.

Пока — к счастью, недолго — шел суд, я не произнес ни слова; оправдываться тогда значило бы оттягивать приговор и могло показаться трусостью. Теперь — другое дело: ночью накануне казни можно говорить, не опасаясь ничего. Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины, — я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет меня услышать, постигнет исто-

---

[124] Примечания: 124

Примечательно, что рассказчик не упоминает самого известного из своих предков, теолога и гебраиста Иоханнеса Форкеля (1799–1846), применившего гегелевскую диалектику к исследованию христианства, чьи переводы нескольких апокрифов вызвали критику Хенгстенберга и одобрение Тило и Гезениуса. *(Примеч. изд.)*

Теолог и гебраист Иоханнес Форкель — видимо, мистификация Борхеса; известен носящий эту фамилию немецкий музыковед, первый биограф И. С. Баха. *Эрнст Вильгельм Хенгстенберг* (1802–1869) — немецкий протестантский теолог. *Иоганн Карл Тило* (1794–1853) — немецкий религиовед, исследователь новозаветных апокрифов. *Фридрих Генрих Вильгельм Гезениус* (1785–1842) — немецкий востоковед, филолог-гебраист. *(прим. Б. Дубин)*

рию Германии и будущее мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и поразительные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений.

Я родился в 1908 году в Мариенбурге. Две теперь уже почти угасшие страсти — музыка и метафизика — помогли мне с достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс и Шопенгауэр. Многим обязан я и поэзии; прибавлю к названным еще одно широко известное германское имя — Уильям Шекспир. Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) мой ум навсегда отвадили Шопенгауэр — с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс — неисчерпаемым разнообразием своих миров. Пусть же тот, кто, дрожа от любви и благодарности, замрет, потрясенный, над тем или иным пассажем в сочинениях этих счастливцев, знает, что и я, мерзостный, тоже замирал над ними.

Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и

Шпенглер[125]. Один автор XVIII века считает, что слыть должником своих современников не хочется никому; чтобы освободиться от гнетущего влияния, я написал статью под заглавием «Abrechnung mit Spengler»[126], в которой отметил, что самое последовательное воплощение черт, именуемых этим литератором фаустианскими, — не путаная драма Гёте[127], а созданная за двадцать веков до нее поэма «De rerum natura»[128]. Тем не менее я отдал должное откровенности историософа, его истинно немецкому (kerndeutsch) воинственному духу. В 1929 году я вступил в Партию.

Не стану задерживаться на годах моего учения. Они мне достались тяжелее, чем многим; не лишенный твердости, я не создан для насилия.

---

[125] Примечания: 125

Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и Шпенглер. — О чтении Шпенглера Борхес сообщал в 1925 г. в письме на Мальорку своемусоратнику поавангарду испанскому поэту Хакобо Суреде; в 1936 г. Борхес писал о Шпенглере в журнале «Очаг». *(прим. Б. Дубин)*

[126] Примечания: 126

«Расчет со Шпенглером» *(нем.).*

[127] Примечания: 127

Иные нации живут в полной невинности, в себе и для себя, подобно минералам или метеорам; Германия же — это всеобъемлющее зеркало вселенной, сознание мира (das Weltbewusstsein). Гёте — прототип этой вселенской отзывчивости. Я не критикую, но при всем желании не узнаю в нем фаустианского человека шпенглеровского образца.

[128] Примечания: 128
«О природе вещей» *(лат.).*
«De rerum natura» — философская поэма Лукреция. *(прим. Б. Дубин)*

Однако я понял, что мы стоим на пороге новых времен и эти времена — как некогда начальные эпохи ислама или христианства — требуют людей нового типа. Лично мне мои сотоварищи внушали только отвращение, и напрасно я уверял себя, будто ради высокой объединившей нас цели до́лжно жертвовать всем личным.

Богословы утверждают, что стоит Господу на миг оставить попечение хотя бы вот об этой моей пишущей руке, и она тут же обратится в ничто, словно вспыхнув незримым огнем. Никто, добавлю от себя, не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды и отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан. Для каждого это оправдание свое: я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне было достаточно знать свое место — место простого солдата этих грядущих битв. Я только боялся порой, как бы из-за трусости Англии или России все не рухнуло. Случай — или судьба? — соткал мне иное будущее: вечером первого марта 1939 года в Тильзите разразились беспорядки, о которых не сообщала пресса; в улочке за синагогой мне двумя пулями раздробило бедро, ногу при-

шлось ампутировать[129]. Через несколько дней наши войска вступили в Богемию; когда об этом объявили сирены, я полусидел на госпитальной койке, пытаясь потонуть и забыться в томике Шопенгауэра. Символ моей бесплодной судьбы, на подоконнике дремал огромный пушистый кот.

Я перечитывал то место в «Parerga und Paralipomena», где сказано: все, что может приключиться с человеком от рождения до смерти, предрешено им самим. Поэтому всякое неведение — уловка, всякая случайная встреча — свидание, всякое унижение — раскаяние, всякий крах — тайное торжество, всякая смерть — самоубийство; Ничто так не утешает, как мысль, будто все наши несчастья добровольны; эта индивидуальная телеология обнаруживает в мире подспудный порядок и чудесно сближает нас с богами. Какой неведомый предлог (ломал я голову) заставил меня искать в тот вечер пули и увечья? Не страх перед боем, нет; уверен, причина глубже. В конце концов я, кажется, понял.

---

[129] Примечания: 129

Есть сведения, что последствия этого ранения оказались куда серьезнее. *(Примеч. изд.)*

…мне двумя пулями раздробило бедро… последствия этого ранения оказались куда серьезнее. — Комментаторы (Р. Лоуренс) сравнивают это ранение и оскопление героя с аналогичным эпизодом из жизни Игнатия Лойолы. *(прим. Б. Дубин)*

Погибнуть за веру легче, нежели жить ею одною; сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошло через это), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок короче человеческого века. Битва и победа — своего рода льготы; быть Наполеоном проще, чем Раскольниковым. 7 февраля 1941 года меня назначили заместителем коменданта концентрационного лагеря в Тарновицах.

Служба не доставляла мне радости, но я исполнял долг. Трус проверяется под огнем; милосердие и жалость ищут темниц и чужой боли. По сути, нацизм — моральное учение, призывающее совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. В бою, под окрик командиров и общий рев, это превращение испытывал каждый; иное дело — отвратный застенок, где предательская жалость искушает нас давно забытой любовью. Я не случайно пишу эти слова: жалость к высшему[130] — последний грех Заратустры. И я, признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного поэта Давида Иерусалема.

Это был мужчина лет пятидесяти. Обойден-

[130] Примечания: 130

..жалость к высшему... — Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, ч. IV («Знамение»). *(прим. Б. Дубин)*

ный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он посвятил свой дар воспеванию счастья. Помнится, Альберт Зёргель[131] в книге «Dichtung der Zeit»[132] сравнил его с Уитменом. Сближение не слишком удачное: Уитмен славит мир наперед, оптом, почти безучастно; Иерусалем радуется каждой мелочи со страстью ювелира. Он никогда не впадает в перечисления, в каталогизацию. Я и сегодня могу, строка за строкой, повторить гекзаметры его великолепного «Живописца Цзы Яна, мастера тигров», чьи стихи напоминают разводы тигровой шкуры и полнятся неисчислимыми и безмолвными пересекающими их тиграми. Не забыть мне и монолога «Розенкранц[133] беседует с ангелом», где лондонский процентщик XVI века пытается на смертном одре вымолить отпущение грехов и не знает, что втайне оправдан, внушив одному из клиентов (которого и видел-то всего раз и,

---

[131] Примечания: 131

Альберт Зёргель (1880–1958) — немецкий литератор, автор фундаментального литературно-критического свода «Литература и писатели нашего времени» (3 т., 1911–1934). Его фамилию будет носить потом герой последней новеллы Борхеса «Память Шекспира». *(прим. Б. Дубин)*

[132] Примечания: 132

«Современная поэзия» *(нем.)*.

[133] Примечания: 133

Розенкранц — герой шекспировского «Гамлета», *Шейлок* — «Венецианского купца». *(прим. Б. Дубин)*

конечно, не помнит) образ Шейлока. Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом, хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази. Я был с ним строг, не поддаваясь ни сочувствию, ни уважению к его славе. Я давно понял, что адом может стать все: лицо, слово, компас, марка сигарет в состоянии свести с ума, если нет сил вычеркнуть их из памяти. Разве не безумец тот, кто днем и ночью видит перед собой карту Венгрии? Я применил этот принцип к дисциплинарному режиму в нашем лагере и…[134] К концу 1942 года Иерусалем сошел с ума, 1 марта 1943-го он покончил с собой[135].

Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, убивая в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом

---

[134] Примечания: 134

Здесь мы были вынуждены опустить несколько строк. *(Примеч. изд.)*

[135] Примечания: 135

Ни в архивах, ни в печатных трудах Зёргеля имени Иерусалема не встречается. Нет его и в историях немецкой литературы. Не думаю, однако, что этот герой вымышлен. По приказу Отто Дитриха цур Линде были казнены многие интеллектуалы еврейского происхождения, среди них — пианистка Эмма Розенцвейг. «Давид Иерусалем», вероятно, символ многочисленных судеб. Сказано, что он погиб 1 марта 1943 года; как помним, 1 марта 1939 года рассказчик был ранен в Тильзите. *(Примеч. изд.)*

всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым.

А над нами проносились великие дни и великие ночи военных удач. Мы вдыхали воздух, пьянивший, как любовь. Сердце замирало от ужаса и восторга, словно захлестнутое прибоем. Все в ту пору было иным, новым, даже сны. (Может быть, я просто никогда не знал настоящего счастья, а бедам, как известно, нужен свой потерянный рай.) Не было тогда человека, который не вбирал бы жизнь полной грудью, дорожа всем, что только способен вместить и перечувствовать; и не было таких, кто не страшился бы потерять это бесценное сокровище. Но моему поколению предстояло пережить все: сначала — победу, потом — гибель.

В октябре-ноябре 1942 года во втором бою у Эль-Аламейна[136] пал в египетских песках мой брат Фридрих; несколько месяцев спустя воздушный налет стер с лица земли наш родовой особняк; другой в конце 43-го — мою лабораторию. Осаж-

---

[136] Примечания: 136

Эль-Аламейн — селение в Египте, где 8-я армия британского генерала Монтгомери нанесла поражение итало-немецким войскам. *(прим. Б. Дубин)*

денный всем миром, погибал Третий рейх: он был один против всех, и все — против него. И тогда случилось то, что я, кажется, осознал только теперь. Я верил, будто способен испить чашу гнева, но обнаружил на дне неожиданный вкус — странный, почти пугающий вкус счастья. «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку втайне чувствую себя виновным и только так могу искупить содеянное». «Я рад поражению, — думалось мне, — потому что конец близок и у меня нет больше сил». «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что было, есть и будет, поскольку исправлять или оплакивать случившееся — значит покушаться на ход вещей». Я перебирал эти объяснения, пока не пришел к единственно верному.

Давно сказано, что люди рождаются на свет[137] последователями либо Аристотеля, либо Платона. Иными словами, всякий более или менее отвлеченный спор входит в давнюю и бесконечную полемику Аристотеля и Платона; через века и пространства сменяются имена, наречия, лица, но не извечные противники. Эта скрытая пре-

[137] Примечания: 137

…люди рождаются на свет… — Мысль С. Т. Колриджа, многократно повторяющаяся у Борхеса. *(прим. Б. Дубин)*

емственность есть и в истории народов. Громя в болотной грязи легионы Вара, Арминий не думал, что закладывает основы Германской империи; переводя Библию, Лютер не подозревал, что выковывает народ, который уничтожит Библию навсегда; настигнутый русской пулей в 1758 году, Кристоф цур Линде в каком-то смысле предвозвестил наши победы в 1914-м. Гитлер считал, что сражается ради одной страны, а сражался во имя всех, даже тех, кого преследовал и ненавидел. И не важно, что сам он не ведал об этом: это знала его кровь, его воля. Мир погибал от засилья евреев и порожденного ими недуга — веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака[138] и обрекшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: «Этот человек — мы». Чтобы воздвигнуть новый порядок, нужно многое разрушить; теперь мы знаем, что среди этого многого — наша Германия. Мы пожертвовали не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой Отчизны. Пусть другие

[138] Примечания: 138

…царю Давиду, осудившему чужака… — 2 Цар 12: 7. Библейский царь Давид послал на смерть хетеянина Урию. *(прим. Б. Дубин)*

клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не имеет равных.

Сегодня на землю нисходит безжалостная эпоха. Ее выковали мы — мы, павшие первыми. Разве дело в том, что Англия послужит молотом, а мы — наковальней?[139] Главное, на земле будет царить сила, а не рабий христианский страх. Если победа, неподсудность и счастье не на стороне Германии, пусть они достаются другим. Да будет благословен рай, даже если нам уготован ад.

Я всматриваюсь в зеркало, чтобы понять, кто я и каким стану через несколько часов перед лицом смерти. Плоть моя может содрогнуться, я — нет.

[139] Примечания: 139

…Англия послужит молотом, а мы — наковальней? — Реминисценция гётевского образа («Кофтские песни», 2; «Эпиграммы», 14). *(прим. Б. Дубин)*

Поиски Аверроэса[140]
Перевод Е. Лысенко

S'imaginant que la tragédie n'est autre chose que l'art de louer...

Ernest Renan[141]. Averroès, 48 (1861) [142]

Абу-ль-Валид Мухаммед ибн Ахмет ибн Мухаммед ибн Рушд (целый век шло это длинное имя к Аверроэсу через Бенраиста и Авенриса, и даже через Абен-Рассада и Филиуса Росадиса) писал одиннадцатую главу трактата «Тахафут-уль-Тахафут» («Уничтожение уничтожения»), в котором утверждается, вопреки мнению персидского аскета Газали, автора «Тахафут-уль-Фаласифа» («Опровержение философов»), что божеству ведомы лишь общие законы вселенной, то, что касается видов, а не индивидуума. Писал он с

---

[140] Примечания: 140

Комментаторы (С. Дапиа) находят перекличку между этой новеллой Борхеса и эссе Ф. Маутнера «Театр и далай-лама» (вошедшим в его книгу «Разговоры в царстве мертвых», 1906). *(прим. Б. Дубин)*

[141] Примечания: 141

Ренан. — Борхес пользовался его книгой «Аверроэс и аверроизм» (I, 1, § 6). *(прим. Б. Дубин)*

[142] Примечания: 142

Полагая, что трагедия есть не что иное, как искусство восхваления... — *Эрнест Ренан. Аверроэс (фр.).*

неспешной уверенностью, справа налево; строя силлогизмы и соединяя звеньями длинные абзацы, он все время чувствовал, как дыхание благоденствия вокруг себя, свой прохладный и просторный дом. В недрах сиесты хрипло ворковали влюбленные голуби, из невидимого патио подымалось журчание фонтана, и Аверроэс, чьи предки были уроженцами аравийских пустынь, всей плотью своей ощущал благодарность за присутствие воды. Ниже располагались сады и уэрта[143]; еще ниже — неуемный Гвадалквивир, а дальше — любимый город Кордова, столь же светлый, как Багдад или Эль-Каир, город, подобный сложному и утонченному музыкальному инструменту[144], а вокруг (это Аверроэс тоже чувствовал) простиралась до горизонта земля Испании, на которой не так-то много всего, но зато каждая вещь расположилась прочно и навеки.

Перо бежало по странице, доводы цеплялись один за другой, доводы неопровержимые, однако

---

[143] Примечания: 143

Уэрта — в Испании поливаемый участок земли за городом. *(прим. Б. Дубин)*

[144] Примечания: 144

…город, подобный… утонченному… инструменту… — Метафора большого города используется Борхесом и в качестве ключа к джойсовскому «Улиссу» (заметка 1925 г. о романе, вошедшая в сб. «Расследования»). *(прим. Б. Дубин)*

блаженное состояние Аверроэса омрачала одна небольшая забота. Причиной был не «Тахафут», труд, в общем, случайный, но проблема из области филологии, связанная с монументальным произведением, которое должно было оправдать его бытие перед человечеством, — то был комментарий к Аристотелю. Этот грек, источник всяческой философии, был ниспослан людям, дабы научить их всему, что только возможно знать: истолковать его книги, как улемы толкуют Коран, было нелегкой целью Аверроэса. История знает не много таких прекрасных и возвышенных фактов, как этот подвиг врача-араба, посвятившего себя мыслям человека, от которого его отделяли четырнадцать веков; к трудностям существа дела надо добавить то, что Аверроэс, не знавший сирийского и греческого языков, работал над переводом перевода. Накануне работу остановили два неясных ему слова в начале «Поэтики»[145]. Этими словами были «трагедия» и «комедия». Он встречал их много лет тому

[145] Примечания: 145

«Поэтика». — Этот трактат Аристотеля перевели на арабский язык с сирийского в X в., и до XIV в. он был известен в Европе лишь по описанному здесь краткому изложению Аверроэса (1174) в переводе Генриха Алеманна. *(прим. Б. Дубин)*

назад в третьей книге «Риторики»[146]; никто в областях ислама не мог догадаться, что они означают. Тщетно листал он страницы Александра Афродисийского[147], тщетно сличал версии несторианина Хунайна Ибн Исхака и Абу Бишра Матты[148]. Два этих загадочных слова испещряли текст «Поэтики», опустить их было невозможно.

Аверроэс отложил перо. Сказав себе (без особой уверенности), что мы часто ищем то, что рядом лежит, он спрятал рукопись «Тахафута» и подошел к полкам, где стояли переписанные персидскими каллиграфами многочисленные тома «Мохкама» слепого Ибн Сиды[149]. Смешно было думать, там он, конечно, справлялся, однако его соблазнило праздное удовольствие вновь полистать эти тома. От этого ученого раз-

---

[146] Примечания: 146

«Риторика». — Этот аристотелевский трактат перевел на арабский Исхак Ибн Хунайн (809–873). *(прим. Б. Дубин)*

[147] Примечания: 147

Александр Афродисийский. — Аверроэс комментировал его трактат «О разуме». *(прим. Б. Дубин)*

[148] Примечания: 148

Абу Бишр Матта (870–940) — арабский ученый, один из крупнейших переводчиков и комментаторов Аристотеля, в том числе его «Поэтики». *(прим. Б. Дубин)*

[149] Примечания: 149

Ибн Сида (1006?–1066) — филолог и лексикограф арабской Испании, слепой, как и его отец. *(прим. Б. Дубин)*

влечения его отвлекли звуки как бы напева. Он поглядел через зарешеченный балкон — внизу, в маленьком немощеном патио играли несколько полуголых мальчиков. Один из них, стоя на плечах у другого, явно подражал муэдзину: крепко зажмурив глаза, он распевал «Нет Бога, кроме Аллаха». Тот, что поддерживал его, стоял неподвижно, изображая минарет; третий, на коленях, ползал в пыли, представляя собрание верующих. Игра быстро прекратилась — каждый хотел быть муэдзином, и никто — верующим или башней. Аверроэс слышал, как они спорили на «грубом» наречии, то есть на возникающем испанском языке мусульманских плебеев полуострова. Он раскрыл «Китаб уль айн»[150] Халиля[151] и с гордостью подумал, что во всей Кордове (а возможно, и во всем Аль-Андалусе[152]) нет другой копии совершенного творения, кроме вот этой, подаренной ему эмиром Якубом аль-Мансуром в

---

[150] Примечания: 150

«Книга-словарь» *(араб.).*

[151] Примечания: 151

Аль-Халиль (718–791 или 792) — арабский филолог, создатель теории стихотворной метрики. *(прим. Б. Дубин)*

[152] Примечания: 152

Аль-Андалус — арабское название мусульманских областей средневековой Испании, объединенных в независимый эмират (впоследствии — халифат) со столицей в Кордове. *(прим. Б. Дубин)*

Танжере. Название гавани напомнило ему, что нынче вечером путешественник Абу-ль-Касим аль-Ашри, возвратившийся из Марокко, будет вместе с ним ужинать у Фараджа, знатока Корана. Абу-ль-Касим рассказывал, что он достиг областей империи Син (то есть Китая); его враги, с той особой логикой, какую порождает ненависть, клялись, что нога его не ступала на землю Китая, но также — что в храмах той страны он хулил Аллаха. Встреча, несомненно, продлится несколько часов, и Аверроэс поспешно взялся снова за «Тахафут». Трудился он до самых сумерек.

Беседа у Фараджа перешла от несравненных добродетелей правителя к добродетелям его брата-эмира, затем, уже в саду, заговорили о розах. Абу-ль-Касим, на них и не взглянув, клялся, что нет роз лучше тех, которые украшают андалузские виллы. Фарадж не дал себя смутить — он заметил, что ученый Ибн Кутайба[153] описывает замечательную разновидность вечноцветущей розы, растущей в садах Индостана, ярко-красные лепестки которой образуют буквы, гласящие: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его». Он прибавил, что Абу-ль-Касим, наверное, видел

[153] Примечания: 153

Ибн Кутайба ад-Динавари (828 — ок. 899) — арабский писатель и филолог. *(прим. Б. Дубин)*

эти розы. Абу-ль-Касим взглянул на него с тревогой. Если ответить «да», все справедливо сочтут его бессовестным и наглым обманщиком; если ответить «нет», сочтут безбожником. Он предпочел пробормотать, что, мол, ключи от всех тайн у Господа и нет на земле ничего, ни увядшего, ни зеленого, что не было бы записано в Его Книге. Слова эти, взятые из одной из первых сур, были встречены почтительным шепотом. Возгордясь победой своего хитроумия, Абу-ль-Касим прибавил, что Господь в своих творениях совершенен и непостижим. Тогда Аверроэс, предвосхищая будущие рассуждения еще не родившегося Юма[154], заявил:

— Мне легче допустить наличие ошибки у ученого Ибн Кутайбы или у переписчиков, чем допустить, что земля порождает розы с символом веры.

— Именно так. Великие и справедливые слова, — молвил Абу-ль-Касим.

— Один путешественник, — вспомнил поэт Абд аль-Малик, — говорит о дереве, плоды которого — зеленые птицы. Мне куда легче поверить этому, чем в розы с буквами.

---

[154] Примечания: 154

…рассуждения… Юма… — Имеется в виду его трактат «Диалоги о естественной религии» (1779). *(прим. Б. Дубин)*

— Возможно, тут цвет птиц, — сказал Аверроэс, — способствует чуду. Кроме того, плоды и птицы принадлежат к миру природы, а письмо — это искусство. Перейти от листьев к птицам легче, чем от роз к буквам.

Кто-то из гостей с негодованием отверг мысль, будто письмо есть искусство, ибо оригинал Корана — «Мать Книги» — предшествовал созданию мира и хранится в небесах. Еще один гость упомянул Джахиза[155] из Басры, сказавшего, что Коран — это субстанция, способная принять форму человека или животного, каковое мнение как будто согласуется с мнением тех, кто приписывает Корану два лица. Фарадж принялся многословно излагать ортодоксальную точку зрения. Коран (сказал он) — это один из атрибутов Бога, подобно Его милосердию; Коран записывают в книгу, его произносят языком, его запоминают сердцем — речь и знаки письма суть творения людей, но Коран неизменен и вечен. Аверроэс, написавший комментарий к «Республике»[156], мог бы сказать,

---

[155] Примечания: 155

Аль Джахиз (775–868) — арабский писатель, ученый и богослов. *(прим. Б. Дубин)*

[156] Примечания: 156

«Республика» — имеется в виду диалог Платона «Государство»; на арабский язык его перевел Хунайн Ибн Исхак. *(прим. Б. Дубин)*

что Мать Книги — это как бы ее платоническая идея, но он увидел, что богословие — предмет, для Абу-ль-Касима вовсе недоступный.

Прочие гости, также это подметившие, пристали к Абу-ль-Касиму с просьбой поведать о какой-нибудь диковине. В те времена, как и в нынешние, мир был жесток: путешествовать по нему могли смельчаки, но также негодяи, готовые на все. Память Абу-ль-Касима была как бы зеркалом его душевной робости. Что он мог рассказать? Вдобавок они требуют диковин, а диковинное разве удастся поведать другому? Луна Бенгалии не похожа на луну Йемена, хотя ее можно описать теми же словами. Абу-ль-Касим помедлил, потом начал:

— Человек, посещающий разные края и города, — вкрадчиво заговорил он, — видит многое, достойное упоминания. Вот, например, история, о которой я рассказывал только один раз султану турок. Она произошла в Син-Калане (Кантоне), где Река Жизни впадает в море.

Фарадж спросил, на сколько лиг удален этот город от стены, которую Искандер Зу-л-Карнайн[157]

---

[157] Примечания: 157

Зу-л-Карнайн («Двурогий») — герой мусульманской мифологии (Коран XVIII, 82 и след.); исламские комментаторы отождествляют его с Александром Македонским. *(прим. Б. Дубин)*

(Двурогий Александр Македонский) воздвиг, дабы преградить путь Гогу и Магогу.

— Она отделена от города пустыней, — сказал Абу-ль-Касим с невольным высокомерием. — Сорок дней надобно идти кафиле (караване), чтобы увидеть вдали ее башни, и, говорят, еще столько же, чтобы до нее добраться. В Син-Калане я не знал ни одного человека, который бы видел ее или видел человека, который ее видел.

Страх перед чудовищной бесконечностью, перед голым пространством, перед голой материей на мгновение охватил Аверроэса. Он оглядел симметрично устроенный сад и почувствовал себя постаревшим, бесполезным, нереальным. Абу-ль-Касим продолжал:

— Однажды вечером мусульманские купцы в Син-Калане повели меня в дом из раскрашенного дерева, в котором находилось много народу. Описать этот дом невозможно — это скорее была одна большая зала с рядами галерей или балконов, расположенными один над другим. Люди, сидя на этих балконах, ели и пили, то же самое делали люди внизу, на полу, и на каком-то возвышении вроде террасы. Люди на террасе били в барабаны и играли на лютнях, кроме пятнадцати или двадцати человек — эти были в красных мас-

ках, — которые молились, пели и разговаривали. Они страдали в оковах, но тюрьмы не было видно; скакали верхом, но лошадей не было; сражались, но мечи были из тростника; умирали, а потом вставали на ноги.

— Поступки умалишенных, — сказал Фарадж, — превосходят воображение разумного человека.

— Они не были умалишенными, — пришлось пояснить Абу-ль-Касиму. — Как сказал мне один из купцов, они изображали какую-то историю.

Никто не понял, никто, видимо, и не пытался понять. Абу-ль-Касим, смущенный, перешел от спокойного рассказа к дерзким рассуждениям. Размахивая руками, он заговорил снова:

— Вообразим себе, что кто-то показывает историю, вместо того чтобы ее рассказывать. Пусть, к примеру, это будет история о спящих в Эфесе[158]. Мы видим, как они удаляются в пещеру, видим, как молятся и засыпают, видим, как спят с открытыми глазами, видим, как во время сна растут,

---

[158] Примечания: 158

…история о спящих в Эфесе. — По христианской легенде, семь эфесских юношей-христиан укрылись от преследований римского императора III в. Деция в пещере, уснули там и пробудились лишь при ревнителе христианства императоре V в. Феодосии; на Востоке легенда была известна еще с V в. и вошла в Коран (сура «Пещера»), благодаря чему асхаб ал-кахф («те, кто в пещере») и их пес Китмир стали общеизвестными. Гиббон писал о них в своей «Истории…» (XXXIII). *(прим. Б. Дубин)*

видим, как просыпаются через триста девять лет, видим, как дают торговцу старинную монету, видим, как они пробуждаются в раю, видим, как с ними пробуждается собака. Нечто подобное нам показали в тот вечер люди на террасе.

— Люди эти говорили? — спросил Фарадж.

— Разумеется, говорили, — сказал Абу-ль-Касим, превращаясь в апологета представления, которое едва помнил и на котором изрядно скучал. — Говорили, и пели, и рассуждали!

— В таком случае, — сказал Фарадж, — не требовалось двадцати человек. Один балагур может рассказать любую историю, даже самую сложную.

Его мнение все одобрили. Стали восхвалять достоинства арабского языка, которым пользуется Бог, дабы управлять ангелами; затем заговорили о поэзии арабов. Абд аль-Малик, отдав ей положенную дань хвалебных слов, обозвал устаревшими поэтов, которые в Дамаске или в Кордове все еще держатся пастушеских образов и словаря бедуинов. Ведь это нелепо, сказал он, чтобы человек, перед глазами которого простирается Гвадалквивир, воспевал воду из колодца. Он призывал обновить древние метафоры — ко-

гда, мол, Зухайр[159] сравнил судьбу со слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за пять веков восхищения она поизносилась. Все одобрили его суждение, которое слышали уже много раз и из многих уст. Аверроэс молчал. Наконец он заговорил, не столько для других, но как бы размышляя вслух.

— Случалось и мне, — сказал Аверроэс, — не так красноречиво, но с подобными же доводами защищать мнение, которое высказал Абд аль-Малик. В Александрии говорили, что не может согрешить лишь тот, кто согрешил и раскаялся; добавим к этому: чтобы быть свободным от заблуждения, надо побывать у него в плену. Зухайр в «Муаллакат»[160] говорит, что по прошествии восьмидесяти лет страданий и славы он видел много раз, как судьба обрушивается вдруг на человека подобно слепому верблюду. Абд аль-Малик полагает, что этот образ уже не способен восхищать. На его замечание можно было бы возразить многое. Первое: если бы целью стиха было

---

[159] Примечания: 159

Зухайр (530–627) — арабский доисламский поэт. *(прим. Б. Дубин)*

[160] Примечания: 160

«Аль-Муаллакат» («Снизка») — свод семи лучших поэм семи знаменитых поэтов арабской древности (Имруулькайса, Зухайра и др.), составленный Хаммадом ар-Равийя (694–772 или 775). *(прим. Б. Дубин)*

удивить, его время измерялось бы не веками, но днями и часами, а может, и минутами. Второе: знаменитый поэт не столько изобретатель, сколько открыватель. В похвалу Ибн Шарафа[161] из Верхи говорят, что только он мог придумать, будто звезды на утренней заре медленно опадают, как листья опадают с деревьев; если они правы, этот образ ничего не стоит. Образ, который может быть придуман только одним человеком, никого не трогает. На земле бесконечное множество всяких вещей, каждую можно сравнивать с любой другой. Сравнение звезд с листьями не менее произвольно, чем сравнение их с рыбами или с птицами. И напротив, нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна. Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, но которой никто не избежал, и написан стих Зухайра. Сказать лучше, чем сказано у него, невозможно. Кроме того — и это, пожалуй, главное в моем рассуждении, — время, разоряющее дворцы, обогащает стихи. Стих Зухайра, написанный им тогда в Аравии, сопоставлял два образа — образ

[161] Примечания: 161

Ибн Шараф (1000–?) — арабский поэт и прозаик, жил в испанском селении Верха (пров. Альмерия). *(прим. Б. Дубин)*

старого верблюда и образ судьбы; но, прочитанный теперь, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба. Прежде у этого образа было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу стиха, и я знаю такие строки, что, подобно музыке, звучат всегда и для всех людей. Так, когда меня несколько лет назад в Марракеше мучила тоска по Кордове, мне приятно было повторять возглас Абдар-Рахмана, обращенный им в садах Русафы[162] к африканской пальме:

И ты, о пальма, тоже
В садах сих чужестранка!..

Удивительное свойство поэзии! Слова, сочиненные королем, тосковавшим по Востоку, помогали мне, сосланному в Африку, в моей ностальгии по Испании.

Затем Аверроэс заговорил о древних поэтах, о тех, кто во Времена Темноты, до Ислама, уже все сказал на беспредельном языке пустынь. Встревоженный — и не без основания — мелочной вычурностью Ибн Шарафа, он сказал, что у древ-

[162] Примечания: 162

Русафа — загородное поместье эмира и поэта Абдаррахмана I; теперь — квартал в Старой Кордове. *(прим. Б. Дубин)*

них и в Коране заключена вся поэзия, и осудил как невежество и суетность притязания вводить новшества. Все слушали его с удовольствием, ибо он защищал старину.

Муэдзины призывали на молитву первого луча, когда Аверроэс вернулся в свою библиотеку. (В гареме за это время черноволосые рабыни успели помучить рабыню рыжеволосую, но он об этом узнает только к вечеру.) Что-то помогло ему понять смысл двух темных слов. Твердым, каллиграфически изящным почерком он добавил в рукописи следующие строчки: *«Аристу (Аристотель) именует трагедией панегирики и комедией — сатиры и проклятия. Великолепные трагедии и комедии изобилуют на страницах Корана и в „Муаллакат“ семи священных».*

Он почувствовал, что хочет спать и что немного озяб. Размотав тюрбан, он поглядел на себя в металлическое зеркало. Не знаю, что увидели его глаза, потому что ни один историк не описал его черты. Знаю лишь, что внезапно он исчез, словно пораженный незримою молнией, и вместе с ним исчезли дом, и невидимый фонтан, и книги, и рукописи, и голуби, и множество черноволосых рабынь, и дрожащая рабыня с рыжими волосами, и Фарадж, и Абу-ль-Касим, и кусты роз, и, возмож-

но, Гвадалквивир.

В этом рассказе я хотел бы описать процесс одного поражения. Сперва я подумывал о том архиепископе кентерберийском[163], который вознамерился доказать, что Бог един; затем об алхимиках, искавших философский камень; затем об изобретавших трисекцию угла и квадратуру круга. Но потом я рассудил, что более поэтичен случай с человеком, ставившим себе цель доступную другим, но не ему. Я вспомнил об Аверроэсе, который, будучи замкнут в границах ислама, так и не понял значения слов «трагедия» и «комедия». Я изложил этот случай; в процессе писания я чувствовал то, что должен был чувствовать упоминаемый Бертоном бог, который задумал создать быка, а создал буйвола. Я почувствовал, что мое произведение насмехается надо мной. Почувствовал, что Аверроэс, стремившийся вообразить, что такое драма, не имея понятия о том, что такое театр, был не более смешон, чем я, стремящийся вообразить Аверроэса, не имея иного материала, кроме крох Ренана, Лейна и Асина Паласьоса. Почувствовал, уже на последней странице, что мой

---

[163] Примечания: 163

о том архиепископе кентерберийском... — Имеется в виду Ансельм Кентерберийский (1033/1034–1109) с его онтологическим доказательством бытия Бога. *(прим. Б. Дубин)*

рассказ — отражение того человека, каким я был, пока его писал, и, чтобы сочинить этот рассказ, я должен был быть именно тем человеком, а для того, чтобы быть тем человеком, я должен был сочинить этот рассказ, и так — до бесконечности. (В тот миг, когда я перестаю верить в него, «Аверроэс» исчезает.)

Заир[164]
Перевод Л. Синянской

Уолли Зеннер[165]

В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета достоинством в двадцать сентаво; на той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы N и T и цифра 2; год 1929-й выгравирован на аверсе. (В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали тигра; на Яве — слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями; в Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины; в тюрьмах Махди году в 1892-м это был маленький, запеленутый в складки тюрбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл

---

[164] Примечания: 164
Захир *(искаж. араб.)*.

[165] Примечания: 165
Уолли Зеннер — аргентинская поэтесса, перевела монодраму Кокто «Голос человеческий»; Борхес написал предисловия к ее книгам «Встретимся в надежном далеке» (1931) и «Прежний огонь» (1949), включил ее стихи в свою «Антологию аргентинской поэзии». *(прим. Б. Дубин)*

фон Слатин[166]; в кордовской мечети, согласно Зотенбергу, это была жилка в мраморе одной из тысячи двухсот колонн; в еврейском квартале Тетуана — дно колодца.) Сегодня тринадцатое ноября; а седьмого июня, на рассвете, в руки мне попал Заир; теперь я уже не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а возможно, даже и рассказать о случившемся. Пока еще, хотя бы отчасти, я остаюсь Борхесом.

Шестого июня умерла Теодолина Вильяр[167]. До 1930 года ее портреты заполняли светские журналы; возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой, хотя не все ее изображения безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильяр не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни; в Мишне[168] мы читаем, что в субботу после наступления сумерек

---

[166] Примечания: 166

Рудольф Карл фон Слатин-Паша (1857–1932) — австрийский генерал, в 1884–1895 гг. — в суданском плену, бежал; оставил ценные воспоминания. *(прим. Б. Дубин)*

[167] Примечания: 167

Теодолина Вильяр. — В образ героини вошли черты известной дамы из буэнос-айресского света начала XX в. Теодолины Альвеар де Лесика. *(прим. Б. Дубин)*

[168] Примечания: 168

Мишна — свод законов в иудаизме. *(прим. Б. Дубин)*

портной не должен выходить на улицу с иглой; в Книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй — с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильяр. Словно приверженец учения Конфуция или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка, и старания ее были тем упорнее и тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихотей Парижа или Голливуда. Теодолина Вильяр появлялась в положенных местах, в положенное время со всеми положенными для данного случая атрибутами и, как положено, с видом человека, уставшего от всего этого; однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды, и тогда они незамедлительно начинали служить (в устах Теодолины Вильяр) символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта, но искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, будто

желала убежать от себя самой: и цвет ее волос, и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз. С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой… Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами — как в таких условиях следовать моде? Один иностранец, а к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей; не прошло и года, как выяснилось, что эти нашлепки *никогда не носили* в Париже, а следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освященным капризом. Беда не приходит одна; доктор Вильяр вынужден был переехать на улицу Араос, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. (Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было!) Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Араос оказалась слишком дорогой; и шестого

июня Теодолина Вильяр допустила промашку — умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаваться, что я, движимый наиболее искренней из всех аргентинских страстей — снобизмом, был влюблен в нее и, узнав о ее смерти, не мог сдержать слез? Читатель, наверное, и сам успел догадаться об этом.

После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты. В какой-то момент той приведшей меня в смятение ночи шестого июня Теодолина Вильяр, точно по волшебству, вдруг стала такой, какой была двадцать лет назад; черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду, недостаток воображения, ограниченность, глупость. Я думал примерно так: ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это; а потому пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым. Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких, одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный

вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц Чили и Такуари я увидел еще открытый альмасен. В этом альмасене, на мою беду, трое мужчин играли в карты.

В фигуре, носящей название «оксюморон», слово снабжено эпитетом, который как бы противоречит смыслу этого слова; так, гностики говорили о темном свете, алхимики — о черном солнце[169]. Равным образом и для меня выпить водки в жалком альмасене после того, как я видел Теодолину Вильяр в последний раз, было своего рода оксюмороном; главное искушение состояло в том, что это было грубо и доступно. (Контраст усугублялся тем, что рядом играли в карты.) Я спросил апельсиновой водки; на сдачу мне дали Заир; я поглядел на монету и вышел на улицу, кажется, у меня начинался жар. Я подумал, что нет монеты, которая не была бы символом всех тех бесчисленных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил

[169] Примечания: 169

о черном солнце. — Этот сакральный, а впоследствии оккультный образ получил богатое развитие в европейской культуре Нового времени: к нему обращались Дж. Мильтон, У. Блейк (в поэзии и графике), Жан-Поль, В. Гюго, Ж. де Нерваль, Ш. Бодлер, О. Редон и др. *(прим. Б. Дубин)*

монету, которой расплачиваются с Хароном; обол, который просил Велисарий[170]; тридцать сребреников Иуды; драхмы куртизанки Лаис[171]; старинные монеты, предложенные спящим из Эфеса, светлые заколдованные монетки из «Тысячи и одной ночи», которые потом стали бумажными кружочками; неизбывный динарий Исаака Лакедема[172]; шестьдесят тысяч монет — по одной за каждый стих эпопеи, — которые Фирдоуси[173] вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми; золотую унцию, которую Ахав[174] велел прибить на мачте; невозвратимый флорин Леопольда Блума[175]; луидор, который близ Варенна выдал беглеца Людовика XVI[176], поскольку именно он был отчеканен на этом луидоре. Как бывает во сне, мысль о

---

[170] Примечания: 170

Велисарий. — Имеются в виду легенды о нищете, в которой закончил жизнь знаменитый полководец; их достоверность опровергал уже Т. Браун («Pseudodoxia epidemica», VII, 17, 1), вместе с тем на них ссылался Гиббон («История…», XLIII). *(прим. Б. Дубин)*

[171] Примечания: 171

Лаис (V–IV вв. до н. э.) — греческая куртизанка, о чьей нищенской старости рассказывает позднегреческий писатель Афиней («Пирующие софисты», XIII). *(прим. Б. Дубин)*

[172] Примечания: 172

Исаак Лакедем (или Лакедион) — имя Агасфера во французской традиции; так назывался роман-фельетон А. Дюма-отца (1852–1853). *(прим. Б. Дубин)*

[173] Примечания: 173

Фирдоуси. — Речь идет о его поэме «Шахнаме», недооцененной султаном Махмудом Газневи, которому она была поднесена автором. *(прим. Б. Дубин)*

[174] Примечания: 174

Ахав. — См.: Г. Мелвилл. Моби Дик, гл. XXXVI. *(прим. Б. Дубин)*

[175] Примечания: 175

Леопольд Блум — см.: Дж. Джойс. Улисс, гл. XIV. *(прим. Б. Дубин)*

[176] Примечания: 176

Людовик XVI. — Эпизод с выдавшим беглого короля его собственным портретом на ассигнации (а не на монете) передает Т. Карлейль во «Французской революции» («Конституция», IV, 6). *(прим. Б. Дубин)*

том, что любая монета дает основание для столь замечательных наблюдений, показалась мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важной. Я еще быстрее зашагал по пустынным улицам и площадям. И, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку; за ней — черно-белый плитчатый пол портика монастыря Непорочного Зачатия. И понял, что очертил полный круг и снова оказался в десяти шагах от альмасена, где мне дали Заир.

Я свернул за угол и издали по темноте, окутывавшей дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграно я взял такси. Спать совсем не хотелось; одержимо, чувствуя себя почти счастливым, я думал о том, что нет на свете вещи менее материальной, нежели деньги, ибо любая монета (скажем, монета в двадцать сентаво) на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. Деньги абстрактны, твердил я, деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой, а могут — музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут — шахматами, или чашкой кофе, или поучением Эниктета о презрении к золоту; это Протей еще более переменчивый, чем Протей с острова Фарос. Это время, которое невозможно

предвидеть, время Бергсона, а не жесткое время Ислама или стоиков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, id est[177] что события могут свершаться сами по себе, монета же символизирует для нас свободу воли. (Я и не подозревал, что эти «мысли» специально плелись против Заира и были первым проявлением его демонического влияния.) Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф.

На следующий день я решил, что был пьян. И все-таки задумал избавиться от монеты, так меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать: ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке, но мне хотелось сойти с ее орбиты. И я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище, а поехал на метро к площади Конституции, оттуда — на Сан-Хуан и Боэдо. Сошел, не размышляя, на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг; не выбирая дороги, несколько раз сворачивал и наконец на улице,

[177] Примечания: 177
То есть *(лат.)*.

которая показалась такой же, как все остальные, вошел в первую попавшуюся лавку, попросил рюмку водки и расплатился Заиром. Щуря глаза за темными очками, я старался не видеть номеров домов и названий улиц. Перед сном я принял таблетку веронала и ночь проспал спокойно.

До конца июня я развлекался сочинением фантастического рассказа. В рассказе есть загадочные подмены: вместо слова «кровь» говорится «вода меча»; вместо слова «золото» — «ложе змеи» и повествование ведется от первого лица. Рассказчик — аскет, который отрекся от общения с людьми и живет один в пустыне. (Гнитхейдр[178] — называется это место.) За чистоту и непритязательность жизни, которую он ведет, некоторые считают его ангелом; однако это — свойственное верующим преувеличение, ибо не бывает людей безвинных. Так и он, чтобы не ходить далеко за примером, зарезал собственного отца, правда, тот был знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища от нездоровой человеческой алчности — этой цели пустынник посвятил

[178] Примечания: 178

Гнитхейдр, Грам, Фафнир и др. — герои германо-скандинавской мифологии. (Борхес приводит скандинавский вариант, отсюда Сигурд, а не Зигфрид и т. д.) *(прим. Б. Дубин)*

жизнь; денно и нощно он бдительно охраняет их. Но скоро, быть может, слишком скоро бдению его придет конец: звезды ему поведали, что уже выкован меч, который его сразит. (Грам — имя того меча.) С каждым разом все более выспренно превозносит он гибкость и блеск своего тела; то упоенно говорит о чешуе, то сообщает, что сокровища, которые он охраняет, — сверкающее золото и красные кольца. В конце мы понимаем, что аскет — на самом деле змей Фафнир, а сокровища, на которых он лежит, — сокровища Нибелунгов. Появление Сигурда обрывает повествование.

Я уже говорил, что, занявшись этой чепухой (в которую я, щеголяя псевдоэрудицией, вплел стих из «Фафнисмаля»[179]), я забыл о монете. Случалось, ночами у меня возникала вдруг уверенность, что я могу забыть о ней, и я заставлял себя ее вспоминать. Надо признаться, я злоупотребил этим; начать оказалось гораздо проще, чем с этим покончить. Тщетно твердил я себе, что ненавистный никелевый кружок ничем не отличается от остальных, переходящих из рук в руки, что их не счесть и все они совершенно одинаковы и безобидны. Имея в виду этот до-

[179] Примечания: 179

«Фафнисмаль» («Речи Фафнира») — скандинавская мифологическая поэма. *(прим. Б. Дубин)*

вод, я попытался думать о другой монете, но не смог. Помню, провалилась и попытка с пятью и десятью чилийскими сентаво, равно как и с уругвайской монетой. Шестнадцатого июля я приобрел фунт стерлингов и целый день не смотрел на него, а ночью (и во все последующие ночи) разглядывал его под увеличительным стеклом при свете сильной электрической лампы. Потом карандашом перерисовал его на бумагу. Однако ни его блеск, ни дракон, ни святой Георгий не помогли: сменить объект навязчивой идеи мне не удалось.

В августе я решил посоветоваться с психиатром. Я не поверил ему подробностей своей нелепой истории; сказал, что меня мучит бессонница и неотвязно преследует образ какого-то предмета, ну, скажем, жетона или монеты… А немного позже я раскопал в книжном магазине на улице Сармьенто экземпляр «Urkunden zur Geschichte der Zahirsage»[180] (Бреслау, 1899) Юлиуса Барлаха.

В книге описывался мой недуг. В предисловии говорилось, что автор задался целью «собрать в едином томе удобного формата ин-октаво все

---

[180] Примечания: 180
«Свидетельства к истории сказаний о Заире» *(нем.).*

документы, имеющие отношение к суевериям, связанным с Заиром, в том числе четыре свидетельства из архива Хабихта[181] и оригинальную рукопись сообщения Филиппа Медоуза Тейлора». Верование в могущество Заира — исламского происхождения и датируется, судя по всему, XVIII веком. (Барлах опровергает положения, которые Зотенберг приписывает Абульфиде[182].) Слово «Захир»[183] по-арабски значит «заметный», «видимый»; и в этом значении оно является одним из девяноста девяти имен Бога; простой народ в мусульманских землях относит Заир к числу «существ или вещей, наделенных ужасным свойством не забываться, изображение которых в конце концов сводит человека с ума». Первое неоспоримое свидетельство принадлежит персу

---

[181] Примечания: 181

Максимиллиан Хабихт (1775–1839) — немецкий ориенталист, переводчик «Тысячи и одной ночи». *(прим. Б. Дубин)*

[182] Примечания: 182

Абульфида (1273–1331) — сирийский историк и географ; в Европе изданием его трудов одним из первых занимался Лейбниц. *(прим. Б. Дубин)*

[183] Примечания: 183

…«Захир»… значит «заметный»… — Таково прозвище исламского законоучителя Дауда Ибн Али ал-Исфахани (?–883), опиравшегося исключительно на прямое, не-аллегорическое толкование Корана. *(прим. Б. Дубин)*

Лутф Али Азуру[184]. В подробной и обширной биографической энциклопедии, озаглавленной «Храм Огня»[185], этот полиграф и дервиш рассказывает, что в одном из учебных заведений Шираза была медная астролябия, «сделанная таким образом, что стоило кому-нибудь увидеть ее хоть раз, и он больше не мог думать ни о чем другом, и потому царь повелел забросить ее в глубины морские, дабы люди не забывали о вселенной». Более пространно сообщение Медоуза Тейлора, который служил у Низама Хайдарабадского и написал знаменитый роман «Confessions of a Thug»[186]. Году в 1832-м Тейлор услышал в предместьях Бхуджа странное выражение «Он посмотрел на Тигра» («Verily he has looked on the Tiger»), которое означало безумие или святость человека. Ему рассказали, что имеется в виду магический тигр, увидеть которого было равносильно погибели, даже если его видели издалека, ибо каждый потом до конца дней думал

---

[184] Примечания: 184

Лутф Али-бек Азур-и (или Лутф-али-Бег-Азар, XVIII в.) — персидский историк и филолог. *(прим. Б. Дубин)*

[185] Примечания: 185

«Храм Огня» — Ср. этот огнепоклоннический мотив в рассказе «В кругу развалин». *(прим. Б. Дубин)*

[186] Примечания: 186

«Исповедь душителя» *(англ.)*.

только о нем. Кто-то рассказал, что один из этих несчастных бежал в Мисор и там на стене дворца нарисовал тигра. Спустя годы Тейлор побывал в тюрьмах этого царства; в тюрьме Нитура губернатор показал ему камеру, на полу, на стенах и сводах которой мусульманский факир изобразил (кричащими красками, которые время, прежде чем стереть, облагородило) нечто вроде бесконечного тигра. Этот тигр состоял из множества причудливым образом переплетавшихся тигров, и тело из тигров, и полоски из тигров, и даже моря, Гималаи и войска, проглядывавшие там, тоже были как будто из тигров. Художник умер много лет назад в этой самой камере; он был родом из Синда или из Гуджарата, и первоначальной его целью было нарисовать карту мира. Следы этого намерения остались в чудовищном изображении. Тейлор рассказал эту историю Махаммуду Аль-Йемени из Форт-Вильяма; тот в ответ заметил, что не было на земле создания, которое бы не склонилось перед Zaheer[187], но что Всемилостивый не позволяет, чтобы Заиром в одно и то же время были две различные вещи, ибо только одна может целиком завладеть людской толпой. Он

[187] Примечания: 187
Так Тейлор пишет это слово.

сказал, что всегда есть только один Заир и что в Пору Невежества им был идол по имени Йаук[188], а потом — пророк из Хорасана[189], который носил покров, расшитый камнями, и золотую маску[190]. И еще он сказал, что Бог непостижим.

Я читал и перечитывал книгу Барлаха. Не стану описывать свои переживания; помню только, что мною овладело отчаяние, когда я понял, что спасения мне не будет, и огромное облегчение от мысли, что я неповинен в собственной беде, и зависть, которую я испытывал к людям, для кого Заир был не монетой, а кусочком мрамора или тигром. До чего легко было бы не думать о тифе, казалось мне. И еще помню, с каким беспокойством прочел я строки: «Один из комментаторов книги „Гулшан-и-раз“[191] говорит, что тот, кто

---

[188] Примечания: 188

Йаук. — В мусульманской традиции (Коран, сура «Нух») имя одного из древних божеств, ставшего для правоверных мусульман воплощением дьявольского соблазна; идол Наука представлял собой коня. *(прим. Б. Дубин)*

[189] Примечания: 189

…пророк из Хорасана… — Ср. выше рассказ «Хаким из Мерва». *(прим. Б. Дубин)*

[190] Примечания: 190

Барлах замечает, что Йаук упоминается в Коране (LXXI, 23), что пророк тот Аль-Моканна («Под Покрывалом»), однако никто, кроме удивительного собеседника Филиппа Медоуза Тейлора, не связывал их с Заиром.

[191] Примечания: 191

«Гулшан-и-раз» («Цветник тайн», 1311) — поэтический трактат персид-

ского мыслителя-суфия Махмуда Шабистари (?–1320). *(прим. Б. Дубин)*

видел Заир, в скором времени увидит и Розу, и приводит в доказательство стих из „Асрар-Нама“ („Книги о вещах неведомых“) Аттара: „Заир — это тень Розы и царапина от Воздушного покрова“».

В ту ночь, когда тело Теодолины лежало в гробу, меня удивило, что я не увидел среди присутствовавших сеньоры Абаскаль, ее младшей сестры. А в октябре одна ее подруга сказала мне:

— Бедняжка Хулита такая стала странная, ее поместили в лечебницу Босха. Видно, сестрам приходится с ней нелегко, еще бы — кормят с ложечки. Из рук не выпускает монетки — точь-в-точь как шофер Морены Сакман.

Время, приглушающее воспоминания, мысли о Заире, напротив, обостряет. Раньше я представлял себе сначала его аверс, а потом реверс; теперь же я мысленно могу увидеть сразу обе стороны монеты. И не так, как если бы Заир был стеклянным, скорее, это похоже на то, что зрение у меня сферическое и Заир находится в самом центре этой сферы. Все, что не Заир, с трудом, как сквозь сито, доходит до меня и кажется далеким: и полный презрения облик Теодолины, и физическая боль. Теннисон сказал[192], что, если бы нам

[192] Примечания: 192

Теннисон сказал… — Цитируется его стихотворение «Цветок на треснувшей стене…». *(прим. Б. Дубин)*

удалось понять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собой представляет весь мир. Быть может, он хотел сказать, что нет события, каким бы ничтожным оно ни выглядело, которое бы не заключало в себе истории всего мира со всей ее бесконечной цепью причин и следствий. Быть может, он хотел сказать, что весь видимый мир предстает перед нами в любом его проявлении таким же образом, каким воля, по мнению Шопенгауэра, предстает полностью в каждом субъекте. Каббалисты понимали, что каждый человек — это микрокосмос[193], символическое зеркало вселенной; и, по мнению Теннисона, все является таковым. Все, даже этот невыносимый Заир.

К 1948 году участь Хулии, наверное, постигнет и меня. Меня станут кормить с ложечки и одевать, и я не буду знать, вечер на дворе или утро и кто такой Борхес. Назвать это будущее ужасным было бы неправильно, поскольку ничто в мире не будет меня трогать. Равно как нельзя

---

[193] Примечания: 193

…человек — это микрокосмос… — Идея, восходящая к мифологической архаике, в философии выдвинута досократиками, Демокритом («человек — это малый мир», позднее повторенное Дж. Донном в «Священных сонетах»), развита Платоном и стоиками, значима для Отцов Церкви (сам термин «микрокосмос» ввел, видимо, Григорий Назианзин), каббалы, ренессансных неоплатоников и оккультных мыслителей, включая Р. Фладда. *(прим. Б. Дубин)*

сказать, будто человек, которому под наркозом вскрывают череп, испытывает ужасную боль. Мир перестанет существовать для меня, для меня будет существовать один Заир. Согласно учению идеалистов слова «жить» и «видеть сон» — точные синонимы; от тысяч кажимостей я перейду к одной; из сна необычайно сложного — в до крайности простой сон. Другим привидится, что я безумен, а мне будет видеться один Заир. Когда же все люди на земле день и ночь будут думать только о Заире, что будет сном и что — действительностью, земля или Заир?

В безлюдные ночные часы я еще могу ходить по улицам. Заря застает меня на площади Гарая, я сижу на скамейке, размышляя (пытаясь размышлять) над тем местом из «Асрар-Нама», где говорится, что Заир — тень Розы и царапина от Воздушного покрова. Я связываю это суждение с такими сведениями: «Чтобы затеряться в Боге, приверженцы суфизма повторяют собственное имя или девяносто девять имен Бога до тех пор, пока те не перестают что-то значить» — и мечтаю пойти по этому пути. Может быть, кончится тем, что я растрачу Заир, так много и с такой силой о нем думая; а может быть, там, за монетой, и находится Бог.

Письмена Бога
Перевод Ю. Стефанова

Эме Риссо Платеро[194]

Каменная темница глубока; изнутри она схожа с почти правильным полушарием; пол (тоже каменный) чуть меньше его наибольшей окружности, и потому тюрьма кажется одновременно гнетущей и необъятной. Посередине полусферу перерезает стена; очень высокая, она все же не достигает верхней части купола; с одной стороны нахожусь я, Тсинакан[195], маг пирамиды Кахолома[196], которую сжег Педро де Альварадо[197]; с другой — ягуар, мерящий ровными и незримы-

---

[194] Примечания: 194

Эма Риссо Платеро — аргентинская писательница; Борхес написал предисловие к книге ее фантастических новелл «Устройство бессонницы» (1948). *(прим. Б. Дубин)*

[195] Примечания: 195

Тсинакан (Ахпоцоциль) — правитель народа какчикелей; упоминается в священной книге «Пополь-Вух» и хрониках испанского завоевания Америки. *(прим. Б. Дубин)*

[196] Примечания: 196

Кахолом (на языке киче — «отец») — первый дух, из которого родился мир. *(прим. Б. Дубин)*

[197] Примечания: 197

Педро де Альварадо (1490–1541) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики и Перу, в 1524–1538 гг. правитель Гватемалы. *(прим. Б. Дубин)*

ми шагами пространство и время своей клетки. В центральной стене, на уровне пола, пробито широкое зарешеченное окно. В час без тени (полдень) вверху открывается люк, и тюремщик, ставший от времени безликим, спускает нам на веревке кувшины с водой и куски мяса. Тогда в темноту проникает свет, и я могу увидеть ягуара.

Я потерял счет годам, проведенным во мраке; когда-то я был молод и мог расхаживать по камере, а теперь лежу в позе мертвеца, и мне остается только ждать уготованной богами кончины. Когда-то длинным кремневым ножом я вспарывал грудь людей, приносимых в жертву; теперь без помощи магии я не сумел бы подняться с пыльного пола.

Накануне сожжения пирамиды сошедшие с высоких коней люди пытали меня раскаленным железом, чтобы выведать, где находится сокровищница. У меня на глазах была низвергнута статуя Бога, но Бог не оставил меня и помог промолчать под пыткой. Меня бичевали, били, калечили, а потом я очнулся в этой темнице, откуда мне уже не выйти живым.

Чувствуя необходимость что-то делать, как-то заполнить время, я, лежа во тьме, принялся мысленно воскрешать все, что когда-то знал.

Я проводил целые ночи, припоминая расположение и число каменных змеев или свойства лекарственных деревьев. Так мне удалось обратить в бегство годы и снова стать властелином того, что мне принадлежало. Однажды ночью я почувствовал, что приближаюсь к драгоценному воспоминанию: так путник, еще не увидевший моря, уже ощущает его плеск в своей крови. Через несколько часов воспоминание прояснилось: то было одно из преданий, связанных с Богом. Предвидя, что в конце времен случится множество бед и несчастий, он в первый же день творения начертал магическую формулу, способную отвратить все эти беды. Он начертал ее таким образом, чтобы она дошла до самых отдаленных поколений и чтобы никакая случайность не смогла ее исказить. Никому не ведомо, где и какими письменами он ее начертал, но мы не сомневаемся, что она тайно хранится где-то и что в свое время некий избранник сумеет ее прочесть. Тогда я подумал, что мы, как всегда, находимся при конце времен и что моя судьба — судьба последнего из служителей Бога — быть может, даст мне возможность разобрать эту надпись. То обстоятельство, что я находился в темнице, не лишало меня надежды; вполне вероятно, что я

уже тысячи раз видел эти письмена Кахолома, только не смог их понять.

Эта мысль ободрила меня, а затем довела до головокружения. По всей земле разбросано множество древних образов, неизгладимых и вечных; любой из них способен служить искомым символом. Словом Бога может оказаться гора, или река, или империя, или сочетание звезд. Но горы с течением времени рассыпаются в прах, реки меняют свои русла, на империи обрушиваются превратности и катастрофы, да и рисунок звезд не всегда одинаков. Даже небосводу ведомы перемены. Гора и звезда — те же личности, а личность появляется и исчезает. Тогда я стал искать нечто более стойкое, менее уязвимое. Размышлять о поколениях злаков, трав, птиц, людей. Быть может, магическая формула начертана на моем собственном лице и я сам являюсь целью моих поисков. В этот миг я вспомнил, что одним из атрибутов Бога служил ягуар.

И благоговейный восторг овладел моей душой. Я представил себе первое утро времен, вообразил моего Бога, запечатлевающего свое послание на живой шкуре ягуаров, которые без конца будут спариваться и приносить потомство в пещерах, зарослях и на островах, чтобы послание это до-

шло до последних людей. Я представил себе эту кошачью цепь, этот лабиринт огромных кошек, наводящих ужас на поля и стада во имя сохранности предначертания. Рядом со мной находился ягуар; в этом соседстве я усмотрел подтверждение моей догадки и тайную милость Бога.

Долгие годы я провел, изучая форму и расположение пятен. Каждый слепой день дарил мне мгновение света, и тогда я смог закрепить в памяти черные письмена, начертанные на рыжей шкуре. Одни из них выделялись отдельными точками, другие сливались в поперечные полосы, третьи, кольцевые, без конца повторялись. Должно быть, то был один и тот же слог или даже слово. Многие из них были обведены красноватой каймой.

Не буду говорить о тяготах моего труда. Не раз я кричал, обращаясь к стенам, что разобрать эти письмена невозможно. И мало-помалу частная загадка стала мучить меня меньше, чем загадка более общая: в чем же смысл изречения, начертанного Богом?

«Что за изречение, — вопрошал я себя, — может содержать в себе абсолютную истину?» И пришел к выводу, что даже в человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю

вселенную целиком; сказать «ягуар» — значит вспомнить о ягуарах, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшем на свет землю. И я осознал, что на Божьем языке эту бесконечную перекличку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно и не поочередно, а разом. Постепенно само понятие о Божьем изречении стало мне казаться ребяческим и кощунственным. «Бог, — думал я, — должен был сказать всего одно слово, вмещающее в себя всю полноту бытия. Ни один из произнесенных им звуков не может быть менее значительным, чем вся вселенная или, по крайней мере, чем вся совокупность времен. Жалкие и хвастливые человеческие слова — такие как „все“, „мир“, „вселенная“ — это всего лишь тени и подобия единственного звука, равного целому наречию и всему, что оно в себе содержит».

Однажды ночью (или днем) — какая может быть разница между моими днями и ночами? — я увидел во сне, что на полу моей темницы появилась песчинка. Не обратив на нее внимания, я снова погрузился в дрему. И мне приснилось, будто я проснулся и увидел две песчинки. Я опять заснул, и мне пригрезилось, что песчинок стало

три. Так они множились без конца, пока не заполнили всю камеру, и я начал задыхаться под этой горой песка. Я понял, что продолжаю спать, и, сделав чудовищное усилие, пробудился. Но пробуждение ни к чему не привело: песок по-прежнему давил на меня. И некто произнес: «Ты пробудился не к бдению, а к предыдущему сну. А этот сон, в свою очередь, заключен в другом, и так до бесконечности, равной числу песчинок. Путь, на который ты вступил, нескончаем; ты умрешь, прежде чем проснешься на самом деле».

Я почувствовал, что погибаю. Рот у меня был забит песком, но я сумел прокричать: «Приснившийся песок не в силах меня убить, и не существует сновидений, порождаемых сновидениями!» Меня разбудил отблеск. В мрачной вышине вырисовывался светлый круг. Я увидел лицо и руки тюремщика, блок и веревку, мясо и кувшины.

Человек мало-помалу принимает обличье своей судьбы, сливается воедино со своими обстоятельствами[198]. Я был отгадчиком, и мстителем, и жрецом Бога, но прежде всего — узником. Из

---

[198] Примечания: 198

…со своими обстоятельствами. — Слегка видоизмененная цитата из эссе Хосе Ортеги-и-Гасета «Размышления о Дон Кихоте» (1914, «К читателю»). *(прим. Б. Дубин)*

ненасытного лабиринта сновидений я вернулся в тюрьму, как возвращаются домой. Я благословил сырую темницу, благословил ягуара, благословил световой люк, благословил свое дряхлое тело, благословил мрак и камень.

Тогда произошло то, чего я никогда не забуду, но не смогу передать словами. Свершилось мое слияние с божеством и со вселенной (если только два этих слова не обозначают одного и того же понятия). Экстаз не выразишь с помощью символов; один может узреть Бога в проблеске света, другой — в мече, третий — в кольцевидных лепестках розы. Я увидел некое высочайшее Колесо; оно было не передо мной, и не позади меня, и не рядом со мной, а повсюду одновременно. Колесо было огненным и водяным и, хотя я видел его обод, бесконечным. В нем сплелось все, что было, есть и будет; я был одной из нитей этой ткани, а Педро де Альварадо, мой мучитель, — другой. В нем заключались все причины и следствия, и достаточно мне было взглянуть на него, чтобы понять все, всю бесконечность. О радость познания, ты превыше радости воображения и чувств! Я видел вселенную и постиг сокровенные помыслы вселенной. Видел начало времен, о котором

говорит Книга Совета[199]. Видел горы, восстающие из вод, видел первых людей, чья плоть была древесиной, видел нападавшие на них каменные сосуды, видел псов, что пожирали их лица. Видел безликого Бога, стоящего позади богов. Видел бесчисленные деяния, слагавшиеся в единое блаженство, и, понимая все, постиг также и смысл письмен на шкуре ягуара.

То было изречение из четырнадцати бессвязных (или казавшихся мне бессвязными) слов[200]. Мне достаточно было произнести его, чтобы стать всемогущим. Мне достаточно было произнести его, чтобы исчезла эта каменная темница, чтобы день вошел в мою ночь, чтобы ко мне вернулась молодость, чтобы тигр растерзал Альварадо, чтобы священный нож вонзился в грудь испанцев, чтобы восстала из пепла пирамида, чтобы воскресла империя. Сорок слогов, четырнадцать слов, — и я, Тсинакан, буду властвовать над землями, которыми некогда владел Моктесума. Но я знаю, что ни за что не произнесу этих слов, ибо

---

[199] Примечания: 199

Книга Совета — свод мифологии индейцев-киче «Пополь-Вух»; в нем упоминаются письмена ягуара. *(прим. Б. Дубин)*

[200] Примечания: 200

...изречение из четырнадцати... слов. — Число 14 у какчикелей посвящено ягуару. *(прим. Б. Дубин)*

тогда забуду о Тсинакане.

И да умрет вместе со мной тайна, запечатленная на шкурах ягуаров. Кто видел всю вселенную, кто постиг пламенные помыслы вселенной, не станет думать о человеке, о жалких его радостях и горестях, даже если он и есть тот самый человек. Вернее сказать — был им, но теперь это ему безразлично. Ему безразличен тот, другой, безразлично, к какому племени тот принадлежит, — ведь сам он стал теперь никем. Вот почему я не произнесу изречения, вот почему я коротаю дни, лежа в темноте.

Абенхакан Эль-Бохари, погибший в своем лабиринте[201]

Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

...могут быть уподоблены пауку, строящему дом.

Коран, XXIX, 40

— Вот здесь, — сказал Данревен и широким жестом, не отвергающим и звезд в облаках, обвел черную безлюдную равнину, море и величественное потрескавшееся здание, напоминающее пришедшую в упадок конюшню, — земля моих предков.

Анвин, его приятель, вытащил изо рта трубку и издал несколько сдержанных одобрительных звуков. Был вечер в начале лета 1914 года; пресытившись миром без опасности, друзья наслаждались уединением в этом уголке Корнуолла. Данревен пестовал темную бородку и был известен как автор величественной эпопеи, в

---

[201] Примечания: 201

Новелла, которую автор называл вариантом притчи «Два царя и два их лабиринта», впервые опубликована в 1951 г. в журнале «Юг» и лишь затем вошла во второе издание книги «Алеф» (1956), в составе которой с тех пор и печатается. В топике новеллы заметно влияние начальных глав романа Стивенсона «Остров сокровищ». *(прим. Б. Дубин)*

которой его современники почти не могли уловить размера, тема ее не поддавалась пересказу; Анвин опубликовал исследование теоремы, доказательства которой Ферма не записал на полях работы Диофанта. Оба — нужно ли говорить? — были молоды, безрассудны и азартны.

— Прошло почти четверть века, — сказал Данревен, — как Абенхакан эль-Бохари, вождь или царь одного из племен нилотов, погиб в центральной комнате этого дома от руки своего племянника Саида[202]. За все эти годы обстоятельства его смерти не прояснились.

Анвин, как и ожидалось, спросил почему.

— По разным причинам, — последовал ответ. — Во-первых, этот дом — лабиринт. Во-вторых, его охраняли раб и лев. В-третьих, было похищено спрятанное сокровище. В-четвертых, убийца был мертв в момент убийства. В-пятых…

Анвин равнодушно прервал его.

— Не нагромождай загадок, — сказал он. — Эти должны оказаться простыми. Вспомни украденное письмо По, вспомни запертую комнату

---

[202] Примечания: 202

…Абенхакан… погиб… от руки своего племянника Саида. — По-испански начальные литеры в именах героев, A и Z, составляют первую и последнюю букву алфавита, что замыкает действие новеллы в безысходный круг. *(прим. Б. Дубин)*

Зангвилла.

— Или сложными, — ответил Данревен. — Вспомни вселенную.

Поднявшись на песчаный холм, они достигли лабиринта. Вблизи он казался прямой и почти бесконечной стеной из некрашеного кирпича, чуть выше человеческого роста. Данревен сказал, что дом круглый, но площадь его была так велика, что кривизны не ощущалось. Анвин вспомнил Николая Кузанского, для которого всякая прямая была дугой[203] бесконечно большой окружности. Около полуночи они обнаружили обветшалую дверь, которая вела в глухую и полную опасностей прихожую. Данревен сказал, что внутри дома множество пересечений, но, все время поворачивая налево, они примерно через час дойдут до центра. Анвин выразил согласие. Звучали осторожные шаги по каменному полу; галерея разделилась на две более узкие. Казалось, дом хочет поглотить их, так низко навис потолок. Им приходилось двигаться один за другим. Анвин шел впереди. Зацепляясь за углы и неров-

[203] Примечания: 203

...всякая прямая была дугой... — Прямая как дуга бесконечной окружности (а также как треугольник и шар) служила Николаю Кузанскому символом божественного абсолюта («Об ученом незнании», I, 13–15). *(прим. Б. Дубин)*

ности, он все время касался рукой невидимой стены. Медленно продвигаясь в темноте, Анвин услышал из уст своего друга историю смерти Абенхакана.

— Быть может, самое раннее мое воспоминание, — говорил Данревен, — это появление Абенхакана у ворот Пентрита. Его сопровождал человек со львом; без сомнения, это был первый неф и первый лев, которых я видел, если не считать гравюр в Писании. И хотя я был ребенком, зверь цвета солнца и человек цвета ночи поразили меня меньше, чем Абенхакан. Он показался мне очень высоким; это был человек с оливковой кожей, полузакрытыми черными глазами, наглым носом, мясистыми губами, крашенной шафраном бородой, мощной грудью, с уверенной и бесшумной походкой. Дома я сказал: «Царь приплыл на корабле». Позже, когда каменщики возводили дом, я усложнил этот титул и называл его Царем Вавилонским.

Известие, что чужеземец собирается поселиться в Пентрите, было принято благосклонно. Размеры и форма его дома — с замешательством и чуть ли не со скандалом. Казалось немыслимым, чтобы дом состоял из одной-единственной комнаты и коридоров, тянущихся мили и мили.

«Такие дома бывают у магометан, но не у христиан», — говорил народ. Наш ректор, мистер Олби[204], человек незаурядно начитанный, извлек на свет историю царя, который был наказан провидением за то, что воздвиг лабиринт[205], и поведал ее с кафедры. В понедельник Абенхакан посетил жилище ректора, обстоятельства этого краткого визита в то время не были обнародованы, но ни одна последующая проповедь более не касалась гордыни, а мавр смог нанять каменщиков. Несколько лет спустя, когда Абенхакан погиб, Олби сообщил властям суть разговора.

Абенхакан, не садясь, сказал ему примерно следующее: «Никто не смеет осуждать то, что я делаю. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я столетиями повторял бы высочайшее имя Бога, это не смягчило бы моих мук. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я своими руками убил бы себя, это не усилило бы мук, уготованных мне бесконечной Справедливостью. Мое имя известно повсюду: я Абенхакан эль-Бохари и я властвовал

---

[204] Примечания: 204

Наш ректор, мистер Олби… — Отсылка к персонажу романа С. Батлера «Путь всякой плоти» (1903). *(прим. Б. Дубин)*

[205] Примечания: 205

…историю царя, который… воздвиг лабиринт… — Имеется в виду критский царь Минос (см. рассказ «Дом Астерия» и комментарий к нему). *(прим. Б. Дубин)*

над племенами пустыни. Многие годы я обирал их с помощью моего племянника Саида, но Бог услышал их молитвы и допустил, чтобы они восстали. Мои люди были перебиты, мне же удалось бежать с сокровищами, накопленными за эти годы. Саид вывел меня к гробнице святого у подножия скалы. Я приказал своему рабу следить за ликом пустыни; Саид и я в изнеможении заснули. Ночью мне приснилось, будто меня опутали сетью из змей. В ужасе я проснулся, рядом спал Саид, светало; прикосновение паутины к моему телу было причиною страшного сна. Сокровище не бесконечно, подумал я, а он может потребовать свою часть. За поясом у меня был кинжал с серебряной рукоятью, я вытащил его и вонзил Саиду в горло. В агонии он пробормотал несколько слов, которых я не сумел разобрать. Я посмотрел на него; он был мертв, но, боясь, что он поднимется, я приказал рабу разбить ему камнем голову. Потом мы скитались по пустыне и наконец различили вдалеке море. Его бороздили огромные корабли; и я подумал, что мертвому не пройти по воде, и решил искать другие земли. В первую же ночь нашего плавания мне приснилось, что я убиваю Саида. Все повторилось снова, только мне удалось разобрать его слова. Он сказал: „Как

сейчас ты убиваешь меня, так я убью тебя, где бы ты ни был“. Я поклялся, что угроза его не сбудется: я скроюсь в глубине лабиринта, чтобы призрак не нашел дороги».

Сказав это, он ушел. Олби решил было, что мавр лишился рассудка и что нелепый лабиринт — символ и явное свидетельство его безумия. Затем ему пришло в голову, что такое объяснение соответствует необычному зданию и необычному рассказу, но противоречит впечатлению силы, которое оставлял Абенхакан. Возможно, подобные истории характерны для египетских земель, возможно, подобные странности присущи (как Плиниевы драконы[206]) не столько личности, сколько культуре… В Лондоне Олби просмотрел подшивку «Таймс» и удостоверился в истинности рассказа о восстании и последующем исчезновении эль-Бохари и визиря, имевшего славу труса.

Абенхакан, едва каменщики окончили работу, обосновался в центре лабиринта. Больше его в селении не видели; порою Олби пугала мысль, что Саид уже добрался до него и убил. По ночам ветер доносил до нас рычание льва, и овцы в

[206] Примечания: 206

…Плиниевы драконы… — Сведения из «Естественной истории» Плиния (VIII, 11–13 и др.) Борхес суммирует в своей «Книге вымышленных существ». *(прим. Б. Дубин)*

загоне дрожали от древнего страха.

В маленькой бухте бросали якорь корабли, идущие из восточных портов в Кардифф или Бристоль. Раб спускался из лабиринта (который тогда, помнится, был алого, а не розового цвета) и переговаривался на африканском наречии с командами кораблей и, казалось, искал среди живых призрак визиря. Ходили слухи, что эти корабли привозят контрабандой алкоголь и слоновую кость, — так почему бы не возить им также и тени умерших?

Спустя три года со времени сооружения дома стала на якорь у подножия холмов «Роза Сарона». Я не был в числе тех, кто видел парусник, и, возможно, образ его навеян полузабытыми литографиями сражений при Абукире или Трафальгаре, но сдается мне, это был один из тех кораблей, которые кажутся скорее делом рук столяра, чем корабела, и даже скорее краснодеревщика, чем столяра. Он был (если не в действительности, то в моем воображении) полированный, темный, бесшумный и быстрый, команда состояла из арабов и малайцев.

Корабль бросил якорь на рассвете в один из октябрьских дней. Вечерело, когда в дом Олби ворвался Абенхакан. Охваченный ужасом, он

едва сумел выговорить, что Саид уже проник в лабиринт и что раб и лев погибли. Он всерьез спросил, сумеют ли власти защитить его. Но прежде чем Олби ответил, ушел, гонимый тем же страхом, что привел его в этот дом — во второй и последний раз. Олби, один в своей библиотеке, в изумлении подумал, что этот испуганный человек жестоко притеснял в Судане подвластные ему племена и знает, что такое битва и что значит убивать. На следующий день он заметил, что один из парусников отплыл (курсом на Суакин в Красном море, как он выяснил после). Олби счел своим долгом удостовериться в смерти раба и направился к лабиринту. Прерывающийся рассказ Бохари показался ему фантастическим, но за одним из поворотов галереи он наткнулся на льва, и лев был мертв, а за другим — на раба, который был мертв, а в центральном помещении — на эль-Бохари, голова которого была разбита. У ног его валялась шкатулка, инкрустированная перламутром, кто-то сломал замок и не оставил ни монеты.

Заключительные фразы, украшенные риторическими паузами, явно претендовали на красноречие. Анвин догадался, что Данревен уже не в первый раз произносил их с тем же пафосом

и также не достигал успеха. Он спросил, притворяясь заинтересованным:

— Как были убиты лев и раб?

Не меняя манеры, Данревен ответил с мрачным удовлетворением:

— У них тоже были разбиты головы.

К звуку шагов примешался шум дождя. Анвин подумал, что им придется ночевать в лабиринте, в «центральной комнате» повествования Данревена, но в воспоминаниях это длительное неудобство превратится в приключение. Он не произнес ни слова; Данревен не удержался и задал вопрос, словно требовал вернуть долг:

— Разве эта история объяснима?

Как бы размышляя вслух, Анвин ответил:

— Не знаю, объяснима она или нет. Знаю, что это ложь.

Данревен, чертыхнувшись, сослался на старшего сына ректора (Олби, кажется, уже умер) и всех жителей Пентрита. Не менее пораженный, чем Данревен, Анвин извинился. Время в темноте тянулось необычайно долго; оба уже опасались, что сбились с пути, и были совершенно без сил, когда слабый свет, идущий сверху, позволил им различить нижние ступеньки узенькой лестницы. Они поднялись и оказались в обветшалой

круглой комнате. Как память о страхе злополучного царя сохранились две вещи: широкое окно, вознесшееся над морем и окрестной равниной, и западня в полу, которая виднелась за поворотом лестницы. Помещение, хотя и просторное, весьма напоминало тюремную камеру.

Не столько из-за дождя, сколько для того, чтобы было о чем вспомнить и рассказать, друзья провели ночь в лабиринте. Математик спал спокойно; поэта же преследовали строчки, которые ему самому казались отвратительными:

> *Faceless the sultry and overpowering lion,*
>
> *Faceless the stricken slave, faceless the king*[207].

Анвин полагал, что история смерти эль-Бохари не заинтересовала его, но проснулся с ощущением, что разгадал загадку. Весь день он был сосредоточен и неразговорчив, на разные лады примеряя одно событие к другому, а два дня спустя сговорился встретиться с Данревеном в одной из лондонских пивных и сказал ему примерно следующее:

— В Корнуолле я сказал, что услышанная от тебя

---

[207] Примечания: 207

С разбитой головой лежит могучий лев,
С разбитой головой лежит и раб, и царь *(англ.).*

история — ложь. События были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, становились явной ложью. Начну с самой большой лжи, с немыслимого лабиринта. Беглец не прячется в лабиринте. Не сооружает лабиринт на высоком берегу, алый лабиринт, издали заметный морякам. Его не стоит воздвигать, потому что вселенная — лабиринт уже существующий.

Для того, кто в самом деле хочет укрыться, Лондон более надежен, чем эта вышка, к которой ведут все галереи здания. Глубокая мысль, которую я сейчас изложил тебе, посетила меня позавчера, когда мы слушали, как шумит дождь по крыше лабиринта, и дожидались, пока заснем; осененный и вдохновленный ею, я решил забыть твои нелепости и подумать о чем-нибудь осмысленном.

— О теории множеств, например, или о четвертом измерении, — заметил Данревен.

— Нет, — серьезно ответил Анвин. — Я думал о критском лабиринте. Лабиринте, центром которого был человек с головой быка.

Данревен, знаток детективных романов, подумал, что разгадка тайны всегда ниже самой тайны. К тайне причастно сверхъестественное и даже божественное, разгадка же — фокус. Он

сказал, чтобы протянуть неизбежное:

— С головой быка Минотавр изображается в скульптуре и на медалях. Данте представлял его себе с телом быка и головой человека[208].

— Этот вариант тоже подходит, — согласился Анвин. — Здесь важно соответствие чудовищного дома его чудовищному обитателю. Минотавр полностью оправдывал существование лабиринта. Нельзя сказать того же об опасности, привидевшейся во сне. Если вспомнить Минотавра (роковое воспоминание, когда находишься в лабиринте), задача, вероятно, будет решена. Однако сознаюсь, что этот античный образ не казался мне ключом к разгадке, поэтому было необходимо, чтоб в твоем рассказе появился символ более подобающий: паутина.

— Паутина? — переспросил сбитый с толку Данревен.

— Да. Больше всего меня поразило то, что паутина (паутина в ее универсальной форме, скажем платоновская паутина) внушила убийце (поскольку убийца существует) это преступление. Вспомни: эль-Бохари в гробнице видит во сне сеть

---

[208] Примечания: 208

…Минотавр… с телом быка и головой человека. — «Ад» (XII, 11–25); Минотавр у Данте обретается в круге седьмом, отведенном насильникам. *(прим. Б. Дубин)*

из змей и, проснувшись, обнаруживает, что причина сновидения — паутина. Вернемся к ночи, когда эль-Бохари приснилась сеть. Свергнутый царь, визирь и раб, унося сокровища, спасаются бегством в пустыню. Они укрываются в гробнице. Спит визирь, о котором нам известно, что он трус; не спит царь, о котором мы знаем, что он отважен. Царь, не желая делить сокровища с визирем, убивает его ударом кинжала; тень последнего угрожает царю во сне несколько ночей спустя. Все это невероятно; я думаю, события разворачивались по-другому. В эту ночь спал царь, храбрец, и бодрствовал Саид, трус. Спать — значит расставаться с миром, а такое расставание трудно для того, кто знает, что его преследуют с обнаженными мечами. Завистника Саида ввел в искушение сон царя. Он думал об убийстве, может быть, даже играл кинжалом, но не осмелился. Он позвал раба, они укрыли часть сокровищ в гробнице и бежали в Суакин и в Англию. Вовсе не для того, чтобы скрыться от эль-Бохари, а чтобы заманить и убить его, он построил над морем высокий лабиринт с красными стенами. Он знал, что корабли разнесут в гаванях Нубии слухи об алом человеке, рабе и льве и что рано или поздно эль-Бохари придет разыскивать его в этом лаби-

ринте. В последней галерее его ожидала западня. Эль-Бохари бесконечно презирал Саида и не унизился до того, чтобы принять хоть какие-то меры предосторожности. Долгожданный день настал; Абенхакан сошел на берег в Англии, подошел к дверям лабиринта и, возможно, уже шагнул на первую ступеньку лестницы, когда его визирь убил его, возможно и одним выстрелом, из засады. Лев был убит рабом, а другим выстрелом был убит раб. Потом Саид одним камнем разбил всем троим головы. Он вынужден был так поступить: один трус с разбитой головой наводит на мысль об идентификации; а зверь, негр и царь образуют ряд, имея начальные члены которого любой найдет последний. Ничего удивительного, что им владел страх при разговоре с Олби: он только что совершил чудовищное деяние и намеревался бежать из Англии, чтобы завладеть сокровищами.

Задумчивое или недоверчивое молчание наступило вслед за словами Анвина. Данревен заказал еще кружку пива, прежде чем высказаться.

— Я согласен, — сказал он, — мой Абенхакан был Саидом. Подобные метаморфозы — классические особенности жанра, условия, соблюдения которых требует читатель. Но я отказываюсь согласиться с предположением, что часть сокро-

вищ осталась в Судане. Вспомни, ведь Саид бежал от царя и от врагов царя; легче представить себе, что он украл все сокровища, нежели что он задержался, зарывая часть их. Возможно, монеты не были найдены, потому что их не оставалось; каменщики поглотили состояние, которое, в отличие от красного золота Нибелунгов, не было бесконечным. Тогда получается, что Абенхакан пересек море, чтобы вернуть себе растраченные сокровища.

— Не растраченные, — сказал Анвин. — А затраченные в земле неверных на огромную круглую ловушку из кирпича, устроенную для того, чтобы поймать его и уничтожить. Саид, если мое предположение справедливо, действовал побуждаемый ненавистью и страхом, а не алчностью. Он украл сокровища, а затем понял, что сокровища не были для него главным. Главным было погубить Абенхакана. Он притворялся Абенхаканом, убил Абенхакана и в конце концов стал Абенхаканом.

— Да, — согласился Данревен. — Он стал бродягою, который, прежде чем умереть, когда-нибудь припомнит, что был царем или делал вид, что царь.

Два царя и два их лабиринта[209]
Перевод Б. Дубина

Верные люди рассказывают (а остальное знает Аллах), что в давние времена Вавилонской землей[210] правил царь, который собрал однажды своих зодчих и повелел им воздвигнуть такой головокружительный и хитроумный лабиринт, что здравомыслящие мужи не решались ступить в него, а вошедшие исчезали навсегда. Творение это было кощунством, поскольку запутывать и ошеломлять подобает лишь Богу, но не людям. По прошествии лет ко двору прибыл повелитель арабов, и владыка Вавилона, желая пошутить над простодушием гостя, пригласил его осмотреть лабиринт, где тот и блуждал в замешательстве и унижении до самого заката. Тогда он взмолился Творцу о помощи и нашел выход. С губ его

---

[209] Примечания: 209

Эту историю ректор и поведал с кафедры, см. ранее.
В антологии «Краткие и необычайные истории» Борхес указывает, что почерпнул сюжет в книге Р. Ф. Бертона «Мидия» (1879); как перевод (мнимый) из Бертона притча первоначально и печаталась в журнале «Юг» (1939). *(прим. Б. Дубин)*

[210] Примечания: 210

Вавилонская земля. — Имеется в виду Старый Каир. *(прим. Б. Дубин)*

не слетело ни слова упрека, он лишь поведал вавилонскому царю, что у него в Аравии есть лабиринт еще поразительнее и он надеется, если поможет Бог, когда-нибудь познакомить с ним своего гостеприимного хозяина. Затем он вернулся в Аравию, кликнул полководцев и военачальников и напал на вавилонян столь удачно, что стер с лица земли их крепости, рассеял воинства и взял в плен самого царя. Его взвалили на быстроногого верблюда и отправили в пустыню. Всадники скакали три дня, и на закате царь Аравии воскликнул: «О властитель времен, судеб и сроков! В Вавилоне ты замыслил погубить меня в медном лабиринте с несчетными лестницами, стенами и дверьми; ныне Всемогущий велит, чтобы я показал тебе свой лабиринт, где нет нужды ни взбираться по лестницам, ни взламывать двери, ни мерить шагами утомительные галереи, ни одолевать стены, преграждающие путь».

С этими словами он развязал пленника и оставил его посреди пустыни, где тот и скончался от голода и жажды. Слава Тому, кто не знает смерти!

Ожидание
Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

Коляска привезла его к 4004-му номеру[211] на Северо-Восточной улице. Не было еще и девяти утра; человек с удовольствием увидел пятнистые платаны и квадраты земли у подножия каждого, скромные домики с маленькими балконами, аптеку по соседству, выцветшие вывески скобяной лавки и художественной мастерской. Длинный и глухой забор больницы перегораживал дорогу, вдали блестело солнце на стеклах оранжереи. Человек подумал, что это окружение (пока случайное и лишенное смысла, как увиденное во сне) станет со временем, бог даст, привычным, непременным и нужным. В витрине аптеки виднелись фарфоровые буквы: Бреслауэр; евреи сменили итальянцев, перед этим вытеснивших креолов. Это было к лучшему, человек предпочитал не иметь дела с людьми своей крови.

Возница помог ему снять чемодан; женщина, не то усталая, не то расстроенная, наконец откры-

---

[211] Примечания: 211

...к 4004-му номеру... — Кольцеобразный символ бесконечности. *(прим. Б. Дубин)*

ла дверь. Возница нагнулся с козел, возвращая монету, уругвайский медяк, завалявшийся у него в кармане с этой ночи, проведенной в гостинице Мело. Человек вручил ему сорок сентаво и при этом подумал: «Надо вести себя так, чтобы обо мне все забыли. Сейчас я ошибся дважды: расплатился монетой другой страны и дал заметить, что эта ошибка имеет для меня значение».

Следуя за женщиной, он прошел ворота и первый двор. Комната, приготовленная для него, к счастью, выходила во второй двор. Кровать была из железа, причудливо изогнутого мастером в виде ветвей и виноградных листьев; стоял высокий сосновый шкаф, полированный стол, этажерка с книгами, два разных стула и умывальник с тазом, кувшином, мыльницей и бутылью из непрозрачного стекла. Карта провинции Буэнос-Айрес и распятие украшали стены, на алых обоях повторялось изображение павлина с распущенным хвостом. Единственная дверь вела во двор. Чтобы поместить чемодан, надо было передвинуть стулья. Новому жильцу все пришлось но вкусу; когда женщина спросила его имя, он назвался Вильяри, не с тайным вызовом и не для того, чтобы преодолеть унижение, которого не ощущал, а потому, что это имя не давало ему

покоя, потому, что выдумать другое он был не в силах. Его наверняка не соблазняло бытующее в литературе заблуждение, будто присвоить имя врага — большая хитрость.

Поначалу сеньор Вильяри не покидал дома, спустя несколько недель он стал ненадолго выходить в сумерках. Как-то вечером он пошел в синематограф, находившийся за три квартала Он всегда садился в последнем ряду, всегда поднимался чуть раньше конца сеанса. Смотрел трагические истории из жизни преступного мира, в которых, без сомнения, были ошибки и, без сомнения, были картины из его прошлого; Вильяри не замечал этого, мысль о соответствии искусства действительности была чужда ему. Он покорно полагал, что ему нравится изображаемое, и хотел лишь проникнуть в намерение, с которым все это показывали. В отличие от людей, читающих романы, он никогда не смотрел на себя как на объект искусства.

Он не получал ни писем, ни даже проспектов, но со смутной надеждой прочитывал одну из газетных рубрик. Вечером, придвинув стул к двери, он сосредоточенно потягивал мате, разглядывая вьюнок на стене высокого соседнего дома. Годы одиночества научили его, что в воспоминаниях

дни кажутся похожими, но нет ни одного, даже в тюрьме или в больнице, который бы не приносил неожиданностей. В другом заключении он мог бы поддаться соблазну считать дни и часы, но это было бессрочным — если только однажды газета не принесет известия о смерти Алехандро Вильяри. А возможно, что Вильяри уже умер, и тогда теперешняя жизнь — сон. Эта возможность беспокоила его, потому что он не мог решить окончательно, было бы это облегчением или несчастьем; наконец он счел ее абсурдной и отверг. В давние дни, отдаленные не столько ходом времени, сколько двумя или тремя непоправимыми поступками, он жаждал множества вещей со страстью, ничем не сдерживаемой; эта могучая воля, когда-то движимая ненавистью к людям и любовью к некоей женщине, теперь не желала ничего — лишь длиться, не кончаясь. Вкуса мате, вкуса черного табака, растущей полосы тени, заполняющей двор, было достаточно.

В доме жила овчарка. Вильяри подружился с уже старым псом и вел с ним разговоры по-испански, по-итальянски, перемежая речь немногими деревенскими словами, которые сохранились в памяти с детства. Вильяри старался жить только настоящим, без воспоминаний или предчув-

ствий; первые значили для него меньше, чем вторые. Он смутно ощущал, что прошлое — та материя, из которой создано время, поэтому-то оно тут же обращается в прошлое. Порой собственные мытарства казались ему счастьем; в такие моменты он бывал ненамного сложнее пса.

Однажды вечером его напугала и бросила в озноб вспышка боли в глубине рта. Это ужасное ощущение повторилось спустя несколько минут и еще раз на рассвете. На следующий день Вильяри послал за коляской, которая отвезла его к дантисту в Одиннадцатый квартал. Там ему выдернули коренной зуб. Во время этой процедуры он вел себя не трусливее и не тише других.

В другой раз, возвращаясь вечером из синематографа, он почувствовал, что его толкнули. Сердито, с возмущением, с тайной радостью он повернулся к наглецу. Скверно выругался, а тот, удивленный, пробормотал извинение. Это был высокий молодой человек с темными волосами, его спутница походила на немку. Весь вечер Вильяри повторял себе, что эти люди незнакомы ему. Тем не менее прошло четыре или пять дней, прежде чем он появился на улице.

Среди книг на этажерке была «Божественная комедия» со старинным комментарием

Андреоли[212]. Скорее из чувства долга, чем из любопытства, Вильяри приступил к чтению этого великого произведения; до обеда он прочитывал песнь, а после, строго по порядку, примечания. Он не считал муки ада невероятными или чрезмерными, и ему не приходило в голову, что Данте поместил бы его в последний круг[213], где зубы Уголино без конца гложут затылок Руджери.

Павлины на алых обоях могли бы вызвать навязчивые кошмары, но сеньору Вильяри никогда не снилась чудовищная беседка из сплетающихся живых птиц. На рассвете ему всегда снился сон, по сути один и тот же, но с меняющимися подробностями. Двое мужчин и Вильяри входили с револьверами в его комнату, или кидались на него, когда он выходил из синематографа, или иногда их бывало четверо — с незнакомцем, который его толкнул, они печально поджидали его во дворе и, казалось, не узнавали. В конце сна он

---

[212] Примечания: 212

Рафаэле Андреоли (1823–1891) — итальянский филолог, автор одного из наиболее часто переиздающихся комментариев к дантовской «Божественной комедии» (1856). *(прим. Б. Дубин)*

[213] Примечания: 213

…последний круг… — Девятый, где карают предателей; в данном случае имеется в виду архиепископ Руджери, обманом захвативший власть в Пизе и обрекший на заточение и голодную смерть главу Пизанской республики Уголино с его сыновьями («Ад», XXXII–XXXIII). *(прим. Б. Дубин)*

вытаскивал револьвер из ящика полированного стола, стоящего рядом (он и в самом деле хранил револьвер в этом ящике), и стрелял в этих людей. Грохот выстрела будил его, но всегда оказывался сном, и в другом сне схватка повторялась, и в другом сне ему опять приходилось убивать их.

Однажды туманным июльским утром его разбудило присутствие посторонних (дверь не скрипнула, когда ее отворяли). Высокие в полутьме комнаты, странно уплощенные полумраком (в его кошмарах они виделись отчетливее), настороженные, неподвижные и терпеливые, понурившись, будто под тяжестью оружия, Алехандро Вильяри и неизвестный в конце концов настигли его. Жестом он попросил их подождать и отвернулся к стене, как будто собираясь снова заснуть. Чтобы пробудить милосердие тех, кто готовился убить его? Или потому, что легче быть участником ужасного события, чем без конца воображать и дожидаться его? Или — и быть может, это самое вероятное — чтобы убийцы оказались сном, как уже случалось столько раз, на том же месте, в то же время?

Эту его мысль оборвали выстрелы.

Человек на пороге[214]
Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

Бьой Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы Н, наш друг Кристофер Дьюи из Британского Совета сказал, что такое оружие распространено в Индостане. Вслед за этим он упомянул, что работал в той стране в период между двумя войнами (Ultra Auroram et Gangem[215] — помню, произнес он по-латыни, переиначив стих Ювенала). Из историй, что он рассказал в ту ночь, я решаюсь передать следующую. Мой рассказ будет правдивым: да сохранит меня Аллах от искушения прибавить что-либо или усилить заимствованиями из Киплинга экзотический облик повествования. Впрочем, аромат у этой истории, древней и простой, возможно, тот же,

---

[214] Примечания: 214

В рассказе использованы мотивы романа Киплинга «Ким». *(прим. Б. Дубин)*

[215] Примечания: 215

За Авророй и Гангом *(лат.)*.

Ultra Auroram et Gangem… — Измененная цитата из X сатиры Ювенала, у него «до Авроры и Ганга», т. е. до восточных границ мира. *(прим. Б. Дубин)*

что и у «Тысячи и одной ночи», и было бы жаль его утратить.

* * *

Точная география событий, о которых я стану рассказывать, не имеет значения. Да и что могут значить в Буэнос-Айресе названия вроде Амритсара или Уда? Достаточно сказать, что в те годы в одном мусульманском городе были волнения и правительство послало сильного человека, чтобы навести порядок. Это был шотландец из славного клана воинов, насилие было у него в крови. Я видел его всего один раз, но в памяти остались черные как смоль волосы, выступающие скулы, хищные нос и рот, широкие плечи, мощная осанка викинга. Давид Александр Гленкэрн — назовем его так этой ночью, — оба имени подходят, ибо это имена царей, правивших твердой рукою. Давид Александр (мне надо привыкнуть называть его так) был, думается, человеком, внушающим страх; одного известия о его прибытии хватило, чтобы успокоить город. Но это не помешало ему прибегнуть к энергичным мерам. Прошло несколько лет. Город и округ жили мирной жизнью: сикхи и мусульмане оставили старые распри, как вдруг Гленкэрн исчез.

Естественно, поползли слухи о том, что он был похищен или убит.

Я узнал об этом от своего шефа — цензура была суровой, и газеты не комментировали (насколько мне помнится, даже не упоминали) исчезновения Гленкэрна. Пословица гласит, что Индия больше, чем мир; Гленкэрн, возможно всемогущий в городе, куда он был направлен подписью под приказом, был всего-навсего винтиком в механизме администрации империи. Расследование местной полиции оказалось безуспешным, мой шеф счел, что частное лицо возбудит меньше подозрений и сможет добиться лучших результатов. Три-четыре дня спустя (расстояния в Индии огромны) я без особых надежд бродил по улицам мрачного города, который поглотил человека. И почти сразу же ощутил некий молчаливый заговор, имеющий целью скрыть судьбу Гленкэрна. *Нет в этом городе* (я мог поручиться) *ни единого жителя, который не знал бы тайны и не поклялся хранить ее.* Большинство спрашиваемых обнаруживали полную неосведомленность; они не знали, кто такой Гленкэрн, никогда не видели его и никогда о нем не слыхали. Другие, напротив, видели его четверть часа назад разговаривающим с таким-то и даже брались проводить меня к дому,

куда они вошли и где оказывалось, что либо о них ничего не знали, либо они только что этот дом покинули. Одного из этих отъявленных лжецов я ударил кулаком в лицо. Свидетели разделили мое возмущение и тут же измыслили новую ложь. Я не верил, но должен был их выслушивать. Как-то вечером мне подбросили конверт с узкой полоской бумаги, на которой был написан адрес…

Когда я добрался туда, солнце садилось. Квартал был многолюдный и бедный; дом очень низкий; с тротуара я различил ряд немощеных двориков и в глубине свет. В последнем дворе справляли какой-то мусульманский праздник; прошел слепой, держа лютню из красноватого дерева.

У моих ног, на пороге, неподвижный, как вещь, сидел на корточках очень старый человек. Я опишу его внешность, потому что это существенно для рассказа. Годы отшлифовали и отполировали его[216], как вода камень или поколения людей — пословицу. Его одежда состояла, как мне показалось, из длинных лохмотьев, а тюрбан на голове был еще одним лоскутом. В полумраке он повернул ко мне темное лицо с очень белой бородой. Я сказал ему без каких бы то ни было

[216] Примечания: 216

Годы отшлифовали… его… — Автоцитата (см. рассказ «Юг»). *(прим. Б. Дубин)*

вступлений, потому что потерял уже всякую надежду, о Давиде Александре Гленкэрне. Он не понял (или не расслышал), и мне пришлось объяснять, что это судья и что я разыскиваю его. Говоря это, я чувствовал, как нелепо расспрашивать столь древнего старца, для которого настоящее — едва различимый шум. *Этот человек мог бы рассказать о Восстании*[217] *или об Акбаре*, подумал я, *но не о Гленкэрне.* Его ответ подтвердил мои опасения.

— Судья? — сказал он с легким удивлением. — Судья, который пропал и которого ищут. Так случилось однажды, когда я был ребенком. Года я не помню, но еще не погиб Никал Сеин (Николсон[218]) под стенами Дели. Время, которое уходит, остается в памяти; без сомнения, я могу вспомнить все, что тогда произошло. Бог позволил, в гневе своем, чтобы люди впали в грех; уста их изрекали проклятия, ложь и обман. Конечно, порочны были не все, и, когда пришла весть, что королева собирается прислать человека, который

---

[217] Примечания: 217

Восстание — здесь: восстание сипаев в Индии (1857–1859). *(прим. Б. Дубин)*

[218] Примечания: 218

Джон Николсон (1822–1857) — английский офицер, участвовал в подавлении восстания сипаев, умер от ран. Не раз упоминается у Киплинга. *(прим. Б. Дубин)*

бы отправлял в этой стране законы Англии, те, в ком было меньше зла, обрадовались, потому что считали, что закон лучше беспорядка. Прибыл христианин и тут же стал нарушать свой долг и притеснять людей, покрывать отвратительные злодеяния и преступать закон. Сначала мы не винили его; английское правосудие, которому он служил, не было никому известно, и то, что казалось притеснениями, возможно, имело важные и пока скрытые причины. В его книге всему есть оправдание, хотели мы думать, но его сходство с неправедными судьями мира было слишком явным, и в конце концов нам пришлось признать, что он просто злодей. Он стал тираном, а бедный народ (чтобы отомстить за обманутые надежды, которые возлагались на судью) стал лелеять мысль о том, чтобы похитить и покарать его. Одних разговоров мало, от намерений перешли к делу. Никто, кроме, может быть, самых юных или самых простодушных, не верил, что этот безрассудный замысел может быть осуществлен, но тысячи сикхов и мусульман сдержали слово и однажды совершили, не веря себе, то, что каждому из них казалось невозможным. Они похитили судью и заперли его в одном из отдаленных пригородов. Затем переговорили с людьми, которым

он нанес обиды, или (по крайней мере) с сиротами и вдовами, поскольку меч правосудия не знал в эти годы отдыха. Наконец — возможно, это было самым трудным — нашли и назначили судью, чтобы судить судью.

Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом.

Он не спеша продолжал:

— Считается, что в каждом поколении есть по крайней мере четыре праведника, на которых незримо держится мир и которые служат его оправданием перед ликом Господа: один из таких людей был бы самым подходящим судьей. Но где найти их, если они безымянные ходят по свету и мы не сумеем узнать их, когда встретим, а они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат? Тогда кто-то решил, что, поскольку судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного Бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи Махавиры[219], которые учат, что вселенная

[219] Примечания: 219

Монахи Махавиры — приверженцы джайнизма; его основателю, странствующему проповеднику Вардхамане, присвоено имя Махавира («Великий герой»). *(прим. Б. Дубин)*

имеет вид человека с расставленными ногами, огнепоклонники и черные евреи вошли в состав суда, но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему.

Здесь рассказ перебили несколько человек, возвращавшихся с празднества.

— Сумасшедшему, — повторил он, — потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья.

Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным.

— Обвиняемый признал его судьей, — был ответ. — Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся, узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей.

Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней.

— По меньшей мере девятнадцать, — ответил он.

Люди, возвращавшиеся с празднества, снова прервали его; вино запрещено мусульманам, но лица и голоса казались пьяными. Минуя нас, один из них что-то крикнул.

— Девятнадцать дней, точно, — повторил старик. — Неверный пес выслушал приговор, и нож вонзился в его горло. — Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории: — Он умер без страха; и в самых низких людях бывает достоинство.

— Где произошло то, о чем ты рассказываешь? — спросил я. — В отдаленном пригороде?

В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово:

— Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили. А судили в этом городе: в таком же доме, как другие, как вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга: важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе.

Я спросил его о судьбах заговорщиков.

— Не знаю, — терпеливо отвечал он. — Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди осудили их, но не Бог.

Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова и что с этой минуты я пере-

стал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою: мне показалось удивительным, что из таких тесных, ненамного просторнее подъезда двориков может появиться столько народу. Из соседних домов выходили еще люди, наверняка они перелезли через изгородь. Раздавая толчки и ругаясь, я проложил себе дорогу. И в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкэрн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.

Алеф[220]
Перевод Е. Лысенко

Эстеле Канто[221]

O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite space[222].

«Гамлет», II, 2

But they will teach us that Eternity is the Standing still of the Present Time, a Nunc-stans (as the Schools call it); which neither they, nor any else understand, no more than they would a Hic-stans for an Infinite greatness of Place…[223]

«Левиафан»[224], IV, 46

---

[220] Примечания: 220

Алеф — обозначение бесконечного множества в теореме Г. Кантора. По мотивам новеллы снят фильм аргентинского кинорежиссера Хуана Карлоса Десансо «Любовь и страх» (2000). *(прим. Б. Дубин)*

[221] Примечания: 221

Эстела Канто (1919–1994) — аргентинская писательница и журналистка, Борхес познакомился с ней в доме А. Бьоя Касареса в 1944 г. *(прим. Б. Дубин)*

[222] Примечания: 222

О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства *(англ.; пер. М. Лозинского).*

[223] Примечания: 223

Но они хотят учить нас, что вечность есть застывшее настоящее,

Nunc-stans (застывшее теперь), как называют это школы; и этот термин как для них самих, так и для кого-либо другого не более понятен, чем если бы они обозначали бесконечность пространства словом Hic-stans (застывшее здесь) *(англ.; пер. под ред. А. Ческиса).*

[224] Примечания: 224

«Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) — центральный труд Томаса Гоббса. *(прим. Б. Дубин)*

В то знойное февральское утро, когда умерла Беатрис Витербо — после величавой агонии, ни на миг не унизившейся до сентиментальности или страха, — я заметил, что на металлических рекламных щитах на площади Конституции появилась новая реклама легких сигарет; мне стало грустно — я понял, что неугомонный обширный мир уже отделился от нее и что эта перемена лишь первая в бесконечном ряду. Мир будет изменяться, но я не изменюсь, подумал я с меланхолическим тщеславием; я знаю, что моя тщетная преданность порой ее раздражала; теперь, когда она мертва, я могу посвятить себя ее памяти без надежды, но и без унижения. Я вспомнил, что тридцатого апреля день ее рождения; посетить в этот день дом на улице Гарая, чтобы приветствовать ее отца и Карлоса Архентино Данери, ее кузена, будет вежливо, благовоспитанно и, пожалуй, необходимо. Опять я буду ждать в полутьме маленькой заставленной гостиной, опять буду изучать подробности многочисленных ее фотографий. Беатрис Витербо в профиль, цветное фото, Беатрис в маске на карнавале в 1921 году, Беатрис в день первого причастия, Беатрис в день ее свадьбы с Роберто Александри; Беатрис вскоре после развода на завтраке в конном клубе; Беат-

рис в Кильмесе с Делией Сан-Марко Порсель[225] и Карлосом Архентино; Беатрис с пекинесом, подаренным ей Вильегасом Аэдо[226]; Беатрис анфас и в три четверти, улыбающаяся, подпирающая рукою подбородок… Мне уже не придется, как в прежние времена, в оправдание своего присутствия преподносить недорогие книги — книги, страницы которых я в конце концов догадался заранее разреза́ть, чтобы много месяцев спустя не убеждаться, что никто их не касался.

Беатрис Витербо[227] умерла в 1929 году, и с тех пор я ни разу не пропускал тридцатое апреля, неизменно навещая ее родных. Приходил обычно в четверть восьмого и сидел минут двадцать пять; с каждым годом я являлся чуть позже и засиживался подольше; в 1933 году мне помог ливень — меня пригласили к столу. Я, естественно, не пренебрег этим прецедентом — в 1934 году явился

---

[225] Примечания: 225

Делия Элена Сан-Марко Порсель — добрая знакомая Борхеса, ее памяти Борхес посвятил одноименное стихотворение в прозе. *(прим. Б. Дубин)*

[226] Примечания: 226

Вильегас Аэдо — вновь фамилия уругвайских родственников Борхеса по материнской линии. *(прим. Б. Дубин)*

[227] Примечания: 227

Беатрис Витербо. — Имя героини отсылает к дантовской Беатриче, фамилия — к монаху-визионеру, упоминавшемуся в новелле «Три версии предательства Иуды», и, соответственно, к герметическому контексту. *(прим. Б. Дубин)*

уже после восьми с тортом из Санта-Фе и, само собой, остался ужинать. Так, в эти наполненные меланхолией и тщетным любовным томлением дни годовщин я постепенно выслушивал все более доверительные признания Карлоса Архентино Данери[228].

Беатрис была высокого роста, хрупкая, чуть-чуть сутулящаяся; в ее походке (если тут уместен оксюморон) была какая-то грациозная неуклюжесть, источник очарования. Карлос Архентино — румяный, тучный, седеющий господин с тонкими чертами лица. Он занимает маленькую должность в захудалой библиотеке[229] на южной окраине города; характер у него властный, но в то же время не деятельный — до самого недавнего времени он вечерами и в праздники был рад не выходить из дому. Пройдя через два поколения, у него сохранились итальянское «с» и чрезмерная итальянская жестикуляция. Ум его находится в постоянном возбуждении, страстном, подвижном и совершенно бестолковом. Вас засыпают

---

[228] Примечания: 228

Данери. — Отсылка к самому Данте (Дан/те/+/Алигь/ери). *(прим. Б. Дубин)*

[229] Примечания: 229

…занимает маленькую должность в захудалой библиотеке… — Эпизод из биографии Борхеса конца 30-х гг. *(прим. Б. Дубин)*

никчемными аналогиями и праздными сомнениями. У него (как у Беатрис) красивые крупные руки с тонкими пальцами. Несколько месяцев он был одержим поэзией Поля Фора[230] — не столько из-за его баллад, сколько из-за идеи о незапятнанной славе. «Он — король французских поэтов, — напыщенно повторял Карлос Архентино. — И не думай его критиковать, самая ядовитая из твоих стрел его даже не заденет».

Тридцатого апреля 1941 года я позволил себе прибавить к торту бутылку отечественного коньяку. Карлос Архентино отведал его, нашел недурным и после нескольких рюмок повел речь в защиту современного человека.

— Я так и вижу его, — говорил он с не вполне понятной горячностью, — в его кабинете в этой, я сказал бы, сторожевой башне города, в окружении телефонов, телеграфных аппаратов, фонографов, радиотелефонов, киноаппаратов, проектов, словарей, расписаний, проспектов, бюллетеней…

И он заявил, что человеку, всем этим оснащенному, незачем путешествовать, — наш XX век,

---

[230] Примечания: 230

Поль Фор (1872–1960) — французский поэт, известный в основном 40 книгами своих баллад, в 1912 г. ему присвоен в Париже титул «короля поэтов». *(прим. Б. Дубин)*

дескать, перевернул притчу о Магомете и горе, ныне все горы сами сходятся к современному Магомету.

Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он все это не напишет. Как и можно было ожидать, он ответил, что уже пишет: эти мысли и другие, не менее оригинальные, изложены в «Начальной Песне», «Вступительной Песне», или попросту «Песне-Прологе», поэме, над которой он работает много лет, без, знаете ли, рекламы, без оглушительного треска, неизменно опираясь на два посоха, имя коим труд и уединение. Вначале он широко открывает двери воображению, затем шлифует. Поэма называется «Земля», и это, ни много ни мало, описание нашей планеты, в котором, разумеется, нет недостатка и в ярких отступлениях, и в смелых инвективах.

Я попросил его прочитать мне отрывок из поэмы, пусть небольшой. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул объемистую стопку листов со штампом «Библиотека Хуана Крисо-

стомо Лафинура[231]» и самодовольным звучным голосом прочел:

Подобно греку, я народы зрел и страны,

Труды и дни прошел, изведал грязь и амбру;[232]

Не приукрасив дел, не подменив имен,

Пишу я свой вояж, но… autour de ma chambre[233].

— Эта строфа интересна во многих смыслах, — изрек он. — Первый стих должен снискать одобрение профессора, академика, эллиниста — пусть и не скороспелых эрудитов, составляющих, правда, изрядную часть общества; второй — это переход от Гомера к Гесиоду (на фронтоне воздвигаемого здания воздается между строк дань отцу дидактической поэзии), не без попытки обновить прием, ведущий свою генеалогию от

---

[231] Примечания: 231

Хуан Крисостомо Лафинур (1797–1824) — аргентинский поэт и философ, родственник Борхеса; его памяти посвящено борхесовское эссе «Новое опровержение времени». *(прим. Б. Дубин)*

[232] Примечания: 232

Подобно греку… — Первая строка перефразирует начальные стихи «Одиссеи», вторая — отсылает к заглавию поэмы Гесиода. *(прим. Б. Дубин)*

[233] Примечания: 233

Вокруг собственной комнаты *(фр.)*.

Писания, — сиречь перечисление, накопление или нагромождение; третий стих — идет ли он от барокко, декаданса или от чистого и беззаветного культа формы — состоит из двух полустиший-близнецов; четвертый, откровенно двуязычный, обеспечит мне безусловную поддержку всех, кто чувствует непринужденную игру шуточного слога. Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне — причем без педантства! — собрать в четырех стихах три ученые аллюзии, охватывающие тридцать веков, насыщенных литературой: первая аллюзия на «Одиссею», вторая на «Труды и дни», третья на бессмертную безделку, которою мы обязаны досугам славного савояра[234]... И кому же, как не мне, знать, что современное искусство нуждается в бальзаме смеха, в scherzo[235]. Решительно, тут слово имеет Гольдони!

Он прочел мне многие другие строфы, также получившие его одобрение и снабженные пространными комментариями. Ничего приме-

---

[234] Примечания: 234

...бессмертную безделку... славного савояра... — Имеется в виду книга жанровых зарисовок популярного в свое время французского писателя Ксавье де Местра «Путешествие вокруг собственной комнаты» (1794); Де Местр был родом из провинции Савойя. *(прим. Б. Дубин)*

[235] Примечания: 235

Шутка *(ит.)*.

чательного в них не было, они даже показались мне не намного хуже первой. В *его* писаниях сочетались прилежание, нетребовательность и случай; достоинства же, которые Данери в них находил, были вторичным продуктом. Я понял, что труд поэта часто обращен не на самую поэзию, но на изобретение доказательств, что его поэзия превосходна; естественно, эта последующая работа представляла творение иным в его глазах, но не в глазах других. Устная речь Данери была экстравагантной, но его беспомощность в стихосложении помешала ему, кроме считаных случаев, внести эту экстравагантность в поэму[236].

Только раз в жизни мне довелось видеть пятнадцать тысяч одиннадцатисложных стихов «Полиольбиона»[237], топографической эпопеи, в которой Майкл Дрейтон представил фауну,

---

[236] Примечания: 236

Вспоминаю, однако, сатирические строки, в которых он беспощадно бичует плохих поэтов:

У одного словес ученых пустота,
Другой слепит, гремит мишурными стихами,
Но оба лишь зазря без толку бьют крылами,
Забыли, что важнейший фактор — КРАСОТА!

Лишь опасение породить полчища беспощадных и влиятельных врагов удержало его (говорил он мне) от безоглядной публикации поэмы.

[237] Примечания: 237

«Полиольбион» (1612–1622) — гигантская описательная поэма английского поэта Майкла Дрейтона. *(прим. Б. Дубин)*

флору, гидрографию, орографию, военную и монастырскую историю Англии; я убежден, что это творение, грандиозное, но все же имеющее границы, менее скучно, чем беспредельный родственный замысел Карлоса Архентино. Этот собирался объять стихами весь шар земной: в 1941 году он уже управился с несколькими гектарами штата Квинсленд, более чем с километром течения Оби, с газгольдером севернее Веракруса, с главными торговыми домами в приходе Консепсьон, с загородным домом Марианы Камбасерес де Альвеар на улице Одиннадцатого Сентября в Бельграно, с турецкими банями вблизи одного пляжа в Брайтоне. Он прочитал мне несколько трудоемких пассажей из австралийской зоны поэмы — в этих длинных, бесформенных александрийских стихах не было даже относительной живости вступления. Привожу одну строфу:

Так знайте: от столба рутинного правей

(Он кажет путь тебе, коль путник

ты не местный)

Скучает там костяк. – А цвет? —

Бело-небесный. —

И вот загон овец – что твой погост,

ей-ей!

— Тут две смелые черточки, — вскричал он с ликованием, — я слышу, ты уже ворчишь, но, поверь, их оправдает неминуемый успех. Одна — это эпитет «рутинный», который метко изобличает en passant[238] неизбежную скуку, присущую пастушеским и земледельческим трудам, скуку, которую ни «Георгики», ни наш увенчанный лаврами «Дон Сегундо» никогда не посмели изобличить вот так, черным по белому. Вторая — это энергичный прозаизм «костяк» — от него с ужасом отшатнется привередник, но его найдет выше всяких похвал критик со вкусом мужественным. Да и в остальном эта строфа чрезвычайно полновесна. Во второй ее половине завязывается интереснейший разговор с читателем: мы идем навстречу его живому любопытству, в его уста вкладывается вопрос, и ответ дается тут же, мгновенно. А что ты скажешь про эту находку, про «бело-небесный»? Этот живописный неологизм вызывает образ неба, то есть важнейшего элемента австралийского пейзажа. Без него краски эскиза были бы слишком мрачны, и читатель невольно захлопнул бы книгу, уязв-

---

[238] Примечания: 238
Мимоходом *(фр.)*.

ленный до глубины души неизлечимой черной меланхолией.

Я распрощался с ним около полуночи.

Через два воскресенья Данери позвонил мне по телефону — впервые в жизни. Он предложил встретиться в четыре, «попить вместе молочка в соседнем салоне-баре, который прогрессивные дельцы Дзунино и Дзунгри[239] — владельцы моего дома, как ты помнишь, — открывают на углу. Эту кондитерскую тебе будет полезно узнать». Я согласился больше по неспособности противиться, чем из энтузиазма. Найти столик оказалось нелегко: безупречно современный «салон-бар» был почти так же неуютен, как я предвидел; посетители за соседними столиками возбужденно называли суммы, затраченные на него господами Дзунино и Дзунгри. Карлос Архентино сделал вид, будто поражен какими-то красотами освещения (которые он, конечно, уже видел раньше), и сказал мне с долей суровости:

— Хочешь не хочешь, тебе придется признать, что это заведение может соперничать с самыми

[239] Примечания: 239

Дзунино и Дзунгри — «говорящие» имена: «Дзунино» — известное любителям танго кафе в Монтевидео, Орестес Дзунгри — аргентинский композитор и музыкант, ему принадлежит известное танго «Надежда». *(прим. Б. Дубин)*

шикарными барами Флореса.

Затем он во второй раз прочитал мне четыре-пять страниц из поэмы. В них были сделаны исправления по ложному принципу украшательства: где раньше стояло «голубой», теперь красовались «голубоватый», «лазоревый», «лазурный». Слово «молочный» было для него недостаточно звучным — в необузданном описании процесса мойки шерсти он предпочел «млечный», «молочайный», «лактальный»... С горечью выбранил критиков, затем, смягчившись, сравнил их с людьми, «которые не обладают ни драгоценными металлами, ни паровыми прессами, ни прокатными станками, ни серной кислотой для чеканки, но могут указать другим местонахождение какого-либо сокровища». Далее он осудил «прологоманию, которую уже высмеял в остроумном предисловии к „Дон Кихоту“ Князь Талантов». Тем не менее он полагал, что его новое творение должно начинаться с яркого предисловия, этакого посвящения в рыцари, подписанного обладателем бойкого, острого пера. Он прибавил, что собирается опубликовать начальные песни своей поэмы. Тут-то я догадался о смысле странного приглашения по телефону: он хочет просить меня, чтобы я написал предисловие к

его педантской дребедени! Страх мой оказался напрасным; Карлос Архентино с завистливым восхищением заявил: он-де полагает, что не ошибется, назвав солидным авторитет, завоеванный во всех кругах литератором Альваро Мельяном Лафинуром[240], который, если я похлопочу, мог бы снабдить поэму увлекательным предисловием. Дабы избежать совершенно непростительной в этом деле неудачи, я должен ссылаться на два бесспорных достоинства: совершенство формы и научную точность, «ибо в этом обширном цветнике тропов, фигур и всяческих красот нет ни одной детали, не выверенной тщательнейшим изучением». Он прибавил, что Альваро был постоянным спутником Беатрис во всяких увеселениях.

Я поспешно и многословно согласился. Для пущего правдоподобия сказал, что буду говорить с Альваро не в понедельник, а в четверг на скромном ужине, которым обычно завершаются собрания Клуба писателей. (Ужинов таких не бывает, но то, что собрания происходят по

---

[240] Примечания: 240

Альваро Мельян Лафинур (1889–1958) — аргентинский поэт, литературный критик, родственник Борхеса. В 1910 г. по его инициативе в столичной газете «Паис» был напечатан перевод сказки Уайльда «Счастливый принц» в переводе Борхеса-ребенка, ставший его первой публикацией. *(прим. Б. Дубин)*

четвергам, этот неоспоримый факт мог быть Карлосом Архентино Данери проверен по газетам и придавал моим речам правдоподобие.) С видом глубокомысленным и понимающим я сказал, что, прежде чем заговорить о предисловии, я намерен изложить оригинальный план поэмы. Мы простились: сворачивая на улицу Бернардо де Иригойена, я со всей ясностью представил себе две оставшиеся у меня возможности: а) поговорить с Альваро и сказать ему, что известный ему кузен Беатрис (при этом описательном обороте я смогу произнести ее имя) соорудил поэму, которая, кажется, расширила до беспредельного возможности какофонии и хаоса; б) не говорить с Альваро. И я совершенно четко предвидел, что мой бездеятельный характер изберет «б».

В пятницу, с часу дня, меня начал беспокоить телефон. Я возмущался, что этот аппарат, из которого когда-то звучал навек умолкший голос Беатрис, может унизиться, став рупором тщетных и, вероятно, гневных упреков обманутого Карлоса Архентино Данери. К счастью, ничего не произошло — у меня только возникла неизбежная неприязнь к этому человеку, навязавшему мне деликатное поручение, а затем меня забывшему.

Телефон перестал меня терроризировать, но в конце октября Карлос Архентино вдруг опять позвонил. Он был в крайнем волнении, сперва я даже не узнал его голоса. Со скорбью и гневом, запинаясь, он сообщил, что эти распоясавшиеся Дзунино и Дзунгри под предлогом расширения своей уродливой кондитерской собираются снести его дом.

— Дом моих предков, мой дом, почтенный дом, состарившийся на улице Гарая! — повторял он, отвлекаясь, видимо, от горя музыкой слов.

Мне было нетрудно понять и разделить его скорбь. После сорока любая перемена — символ удручающего бега времени; кроме того, речь шла о доме, который был для меня связан бесчисленными нитями с Беатрис. Я хотел было изложить это тонкое обстоятельство, но мой собеседник меня не слушал. Он сказал, что, если Дзунино и Дзунгри будут настаивать на своей абсурдной затее, его адвокат, доктор Дзунни, потребует с них ipso facto[241] за потери и убытки и заставит выплатить сто тысяч песо.

Имя Дзунни произвело на меня впечатление — солидная репутация его контор в Касересе и

---

[241] Примечания: 241
Самим фактом *(лат.). Здесь:* возмещение.

Бакуари вошла в поговорку. Я спросил, взялся ли Дзунни вести дело. Данери сказал, что будет с ним об этом говорить нынче вечером. Он немного замялся, потом голосом ровным, бесцветным, каким мы обычно сообщаем что-то глубоко интимное, сказал, что для окончания поэмы ему необходим этот дом, так как в одном из углов подвала находится Алеф. Он объяснил, что Алеф — одна из точек пространства, в которой собраны все прочие точки.

— Он находился в подвале под столовой, — продолжал Карлос Архентино, став от горя красноречивым. — Он мой, он мой, я открыл его в детстве, еще до того, как пошел в школу. Лестница в подвал крутая, дядя и тетя запрещали мне спускаться, но кто-то сказал, что в подвале находится целый мир. Как я узнал впоследствии, речь шла о сундуке, но тогда я понял буквально, что там есть целый мир. Тайком я спустился, скатился по запретной лестнице, упал. А когда открыл глаза, то увидел Алеф.

— Алеф? — переспросил я.

— Да. Алеф. Место, в котором, не смешиваясь, находятся все места земного шара, и видишь их там со всех сторон. Я никому не рассказал о своем открытии, но пошел в подвал еще и еще. Ребенок,

конечно, не понимал, что эта привилегия ему дарована, чтобы, став мужчиной, он создал поэму! Нет, Дзунино и Дзунгри меня не ограбят, тысячу раз нет! Со сводом законов в руках доктор Дзунни докажет, что мой Алеф «неотчуждаем».

Я попытался воззвать к здравому смыслу:

— Но, может быть, в подвале слишком темно?

— Да, нелегко истине проникнуть в сопротивляющийся ум. Но ведь если в Алефе находятся все места земли, стало быть, там же находятся и все фонари, лампы, все источники света.

— Сейчас же приду посмотреть на него.

Я положил трубку, не дав ему времени возразить. Порой достаточно узнать один факт, и мгновенно видишь ряд подтверждающих обстоятельств, о которых прежде и не подозревал; я удивился, как это я до сих пор не понимал, что Карлос Архентино сумасшедший. Впрочем, все Витербо… Беатрис (я сам это часто повторяю) была женщиной — а прежде девушкой — прямотаки беспощадно здравомыслящей, однако на нее находили приступы забывчивости, отчужденности, презрения, даже настоящей жестокости, которые, вероятно, объяснялись какой-то патологией. Безумие Карлоса Архентино наполнило меня злобным удовлетворением — в глубине

души мы всегда друг друга ненавидели.

На улице Гарая прислуга попросила меня немного подождать. Барин, как обычно, сидит в подвале, проявляет снимки. Рядом с вазой без цветов на ненужном теперь пианино улыбался (скорее вневременной, чем анахронический) большой портрет Беатрис в неприятно-резких тонах. Нас никто не видел; в порыве нежности я подошел к портрету и сказал:

— Беатрис, Беатрис Элена, Беатрис Элена Витербо, любимая моя Беатрис, навсегда утраченная Беатрис, это я, Борхес.

Вскоре появился Карлос. Говорил со мною сухо, и я понял, что он не способен думать ни о чем ином, кроме того, что теряет Алеф.

— Рюмочку этого псевдоконьяка, — распорядился он, — и можешь нырять в подвал. Помни, надо обязательно находиться в горизонтальном положении, лежать на спине. Также необходимы темнота, неподвижность, время на аккомодацию глаз. Ты ляжешь на каменный пол и будешь смотреть на девятнадцатую ступеньку лестницы. Я поднимусь, закрою крышку, и ты останешься один. Тебя, может быть, испугает какой-нибудь грызун — дело обычное! Через несколько минут ты увидишь Алеф. Микрокосм алхимиков

и каббалистов, наш пресловутый давний друг, multum in parvo[242]. — И уже в столовой он прибавил: — Разумеется, если ты его не увидишь, твоя неспособность отнюдь не будет опровержением моих данных… Спускайся, очень скоро ты сумеешь побеседовать с Беатрис во всех ее обликах.

Я поспешно сошел по лестнице, меня уже тошнило от его болтовни. Подвал, размером чуть пошире лестницы, больше напоминал колодец. Я напрасно искал глазами сундук, о котором говорил Карлос Архентино. Один из углов загромождали ящики с бутылками и парусиновые мешки. Карлос взял мешок, свернул его и положил на пол, видимо, в определенном месте.

— Подушка незавидная, — пояснил он, — но, если я сделаю ее выше хоть на один сантиметр, ты ни черта не увидишь, только расстроишься и сконфузишься. Ну давай ложись, хорошенько расслабься и отсчитай девятнадцать ступенек.

Я выполнил его странные требования, он наконец ушел и осторожно опустил крышку — темнота, несмотря на узенькую щель, которую я потом заметил, показалась мне абсолютной. Внезапно мне стала ясна вся опасность моего

---

[242] Примечания: 242
Многое в малом *(лат.)*.

положения — я разрешил запереть себя в подвале сумасшедшему, после того как выпил яд. В бравадах Карлоса сквозил тайный страх, что я могу не увидеть чуда; чтобы оправдать свой бред, чтобы не услышать, что он сумасшедший, Карлос должен меня убить. Я почувствовал некоторую дурноту и постарался объяснить ее своей неподвижностью, а не действием наркотика. Я закрыл глаза, потом открыл их. И тут я увидел Алеф.

Теперь я подхожу к неперескazуемому моменту моего повествования и признаюсь в своем писательском бессилии. Всякий язык представляет собою алфавит символов, употребление которых предполагает некое общее с собеседником прошлое. Но как описать другим Алеф, чья беспредельность непостижима и для моего робкого разума? Мистики в подобных случаях пользуются эмблемами: перс, чтобы обозначить божество, говорит о птице, которая каким-то образом есть все птицы сразу; Аланус де Инсулис — о сфере, центр которой находится всюду, а окружность нигде; Иезекииль[243] — об ангеле с четырьмя

[243] Примечания: 243

Иезекииль. — Его пророческое видение (Иез 1: 4–13) получило развитие в Апокалипсисе (4: 6–7) и переосмыслено Иринеем Лионским как выражение четырех сторон деятельности Христа, символ четырех Евангелий и евангелистов, в этом качестве вошло в символику Средневековья. *(прим. Б. Дубин)*

лицами, который одновременно обращается к Востоку и Западу, к Северу и Югу. (Я не зря привожу эти малопонятные аналогии, они имеют некоторое отношение к Алефу.) Быть может, боги не откажут мне в милости и я когда-нибудь найду равноценный образ, но до тех пор в моем сообщении неизбежен налет литературщины, фальши. Кроме того, неразрешима главная проблема: перечисление, пусть неполное, бесконечного множества. В грандиозный этот миг я увидел миллионы явлений — радующих глаз и ужасающих, — ни одно из них не удивило меня так, как тот факт, что все они происходили в одном месте, не накладываясь одно на другое и не будучи прозрачными. То, что видели мои глаза, совершалось одновременно, но в моем описании предстанет в последовательности — таков закон языка. Кое-что я все же назову.

На нижней поверхности ступеньки, с правой стороны, я увидел маленький, радужно отсвечивающий шарик ослепительной яркости. Сперва мне показалось, будто он вращается, потом я понял, что иллюзия движения вызвана заключенными в нем поразительными, умопомрачительными сценами. В диаметре Алеф имел два-три сантиметра, но было в нем все простран-

ство вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет (например, стеклянное зеркало) был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной. Я видел густонаселенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки, видел серебристую паутину внутри черной пирамиды, видел разрушенный лабиринт[244] (это был Лондон), видел бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, как в зеркало, видел все зеркала нашей планеты, и ни одно из них не отражало меня, видел в заднем дворе на улице Солера те же каменные плиты, какие видел тридцать лет назад в прихожей одного дома на улице Фрая Бентона, видел лозы, снег, табак, рудные жилы, испарения воды, видел выпуклые экваториальные пустыни и каждую их песчинку, видел в Инвернессе[245] женщину, которую никогда не забуду, видел ее пышные волосы, гордое тело, видел рак на груди, видел круг сухой земли на тротуаре, где прежде было дерево, видел загородный дом в Адроге, экземпляр пер-

---

[244] Примечания: 244

…разрушенный лабиринт… — Лондон после немецкой бомбежки 1940 г. *(прим. Б. Дубин)*

[245] Примечания: 245

Инвернесс — город и графство в Шотландии. *(прим. Б. Дубин)*

вого английского перевода Плиния, сделанного Файлмоном Голландом[246], видел одновременно каждую букву на каждой странице (мальчиком я удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются ночью и не теряются), видел ночь и тут же день, видел закат в Керетаро, в котором словно бы отражался цвет одной бенгальской розы, видел мою пустую спальню, видел в одном научном кабинете в Алкмаре глобус между двумя зеркалами, бесконечно его отражавшими, видел лошадей с развевающимися гривами на берегу Каспийского моря на заре, видел изящный костяк ладони, видел уцелевших после битвы, посылавших открытки, видел в витрине Мирсапура[247] испанскую колоду карт, видел косые тени папоротников в зимнем саду, видел тигров, тромбы, бизонов, морские бури и армии, видел всех муравьев, сколько их есть на земле, видел персидскую астролябию, видел в ящике письменного стола (от почерка меня бросило в дрожь) непристойные, немыслимые, убийственно точные письма Беатрис, адресо-

[246] Примечания: 246

Файлмон Голланд (1552–1637) — английский эрудит, переводчик античной словесности. *(прим. Б. Дубин)*

[247] Примечания: 247

Мирсапур — город в Индии на берегу Ганга. *(прим. Б. Дубин)*

ванные Карлосу Архентино, видел священный памятник в Чакарите[248], видел жуткие останки того, что было упоительной Беатрис Витербо, видел циркуляцию моей темной крови, видел слияние в любви и изменения, причиняемые смертью, видел Алеф, видел со всех точек в Алефе земной шар, и в земном шаре опять Алеф, и в Алефе земной шар, видел свое лицо и свои внутренности, видел твое лицо; потом у меня закружилась голова, и я заплакал, потому что глаза мои увидели это таинственное, предполагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один человек его не видел: непостижимую вселенную.

Я почувствовал бесконечное преклонение, бесконечную жалость.

— Да ты совсем обалдеешь, если будешь так долго совать свой нос, куда не просят, — сказал ненавистный жизнерадостный голос. — Сколько ни ломай голову, тебе вовек не отплатить мне за такое чудо. Потрясающая обсерватория, ты согласен, Борхес?

Ботинки Карлоса Архентино стояли на самой верхней ступеньке. Внезапно стало чуть светлее,

---

[248] Примечания: 248

Чакарита — кладбище в Буэнос-Айресе, борхесовское стихотворение о нем вошло в сб. «Сан-Мартинская тетрадка». *(прим. Б. Дубин)*

и я с трудом поднялся и пробормотал:

— Да-да, потрясающая, потрясающая.

Безразличное звучание моего голоса удивило меня. Карлос Архентино с тревогой допытывался:

— Ты хорошо все видел? В цвете?

В единый миг я составил план мести. Добродушно, с неприкрытой жалостью, как бы нервничая и уклоняясь, я поблагодарил Карлоса Архентино за приют в его подвале и настойчиво посоветовал воспользоваться сносом дома, чтобы покинуть вредный воздух столицы, который никого — поверьте, никого! — не щадит. Мягко, но непреклонно я отказался говорить об Алефе, обнял Карлоса Архентино на прощание и повторил, что сельская жизнь и покой — это два замечательных врача.

На улице, на лестнице Конституции, в метро все лица казались мне знакомыми. Я испугался, что ни одно меня больше не удивит, испугался, что меня никогда не оставит чувство, что все это я уже видел. К счастью, после нескольких ночей бессонницы забвение снова меня одолело.

Постскриптум первого марта 1943 года. Через полгода после того, как снесли дом на улице Гарая, издательство «Прокруст», не убоявшись

длины грандиозной поэмы, выпустило в продажу подборку «аргентинских фрагментов». Что было дальше, излишне говорить: Карлос Архентино Данери получил вторую Национальную премию[249] по литературе[250]. Первую дали доктору Аите[251]; третью — доктору Марио Бонфанти[252]; трудно поверить, но мое произведение «Карты шулера»[253] не получило ни одного голоса. Еще раз победили тупость и зависть! Мне давно не удается повидать Данери, газеты оповещают, что вскоре он нас одарит еще одной книгой. Его удачливое перо (которому теперь уже не мешает Алеф) принялось за стихотворное переложение творений доктора Асеведо Диаса[254].

Я хотел бы еще сделать два замечания: одно касающееся сущности Алефа, другое — его на-

---

[249] Примечания: 249

…вторую Национальную премию… — Юмористически обыгрывается эпизод литературной биографии Борхеса: в 1941 г. ему, как неблагонадежному, отказали в официальной премии за книгу «Сад расходящихся тропок» (против этого решения из членов жюри голосовал лишь Альваро Мельян Лафинур). *(прим. Б. Дубин)*

[250] Примечания: 250

«Я получил Ваше вымученное поздравление, — писал он мне. — Жалкий мой друг. Вы лопаетесь от зависти, но Вы должны признать — хоть убейтесь! — что на сей раз я сумел украсить свой берет самым ярким пером и свой тюрбан — *халифом* всех рубинов».

[251] Примечания: 251

Антонио Аита (1899–1966) — аргентинский эссеист, историк литературы. *(прим. Б. Дубин)*

[252] Примечания: 252

Марио Бонфанти — герой пародийной новеллы Борхеса и А. Бьоя Касареса «Махинации Санджакомо» (сб. «Шесть задач для дона Исидро Пароди»). *(прим. Б. Дубин)*

[253] Примечания: 253

«Карты шулера» (иначе — «Крапленая колода») — неизданная книга юношеских рассказов Борхеса в духе Пио Барохи. *(прим. Б. Дубин)*

[254] Примечания: 254

Эдуардо Асеведо Диас (1882–1959) — аргентинский писатель, один из его бытописательских романов — «Большой загон» (1939) — как раз и получил в 1941 г. Национальную премию, в которой отказали Борхесу. *(прим. Б. Дубин)*

звания. Что до последнего, то, как известно, это название первой буквы в алфавите священного языка. Применение его к шарику в моей истории, по-видимому, не случайно. В каббале эта буква обозначает Эн-соф[255] — безграничную, чистую божественность; говорится также, что она имеет очертания человека, указывающего на небо и на землю и тем свидетельствующего, что нижний мир есть зеркало и карта мира горнего; в Mengenlehre[256] Алеф — символ трансфинитных множеств, где целое не больше, чем какая-либо из частей. Хотелось бы мне знать, подобрал ли Карлос Архентино это название сам или же вычитал его *как наименование какой-то другой точки, где сходятся все точки,* в одном из бесчисленных текстов, открывшихся ему благодаря его домашнему Алефу. Как ни покажется невероятным, я полагаю, что существует (или существовал) другой Алеф и что Алеф на улице Гарая — это фальшивый Алеф.

Приведу мои доводы. Капитан Бертон исполнял

---

[255] Примечания: 255

Эн-соф («Бесконечное») — в философии каббалы обозначение божества, не имеющего предела и лишенного всякой предметности. *(прим. Б. Дубин)*

[256] Примечания: 256

Теория множеств *(нем.).*

до 1867 года обязанности британского консула в Бразилии; в июле 1942 года Педро Энрикес Уренья[257] обнаружил в библиотеке города Сантуса его рукопись, трактующую о зеркале, владельцем которого Восток называет Искандера Зу-л-Карнайна, или Александра Двурогого Македонского. В зеркале этом отражалась вся вселенная. Бертон упоминает о родственных диковинах — о семикратном зеркале Кай Хусроу[258], которое Тарик ибн-Зияд обнаружил в захваченном дворце («Тысяча и одна ночь», 273), о зеркале, которое Лукиан из Самосаты видел на Луне («Правдивая история», I, 26), о волшебном копье Юпитера, о котором говорится в первой книге «Сатирикона» Капеллы[259], об универсальном зеркале Мерлина, «круглом, вогнутом и похожем на целый

---

[257] Примечания: 257

Педро Энрикес Уренья (1884–1946) — доминиканский историк латиноамериканской словесности, вместе с Борхесом издал «Классическую антологию аргентинской литературы» (1937). *(прим. Б. Дубин)*

[258] Примечания: 258

Кай Хусроу (Кави Хосрава) — герой иранской мифологии, царь из легендарной династии Кейянидов, о чьих подвигах повествует поэма Фирдоуси «Шахнаме». *(прим. Б. Дубин)*

[259] Примечания: 259

Марциан Капелла (V в.) — латинский писатель и педагог, чей компендиум «Сатирикон» (наиболее известна его вторая книга — аллегория «О бракосочетании Филологии и Меркурия») вобрал разнообразные сведения, входящие в систему «семи свободных искусств». *(прим. Б. Дубин)*

стеклянный мир» («The Faerie Queene»[260], III, 2, 19), — и прибавляет следующие любопытные слова: «Однако все перечисленные зеркала (к тому же не существовавшие) — это всего лишь оптические приборы. А правоверным, посещающим мечеть Амра в Каире, доподлинно известно, что вселенная находится внутри одной из колонн, окаймляющих центральный двор мечети… Разумеется, видеть ее не дано никому, но те, кто прикладывает ухо к колонне, говорят, что вскоре начинают слышать смутный гул движения вселенной… Мечеть сооружена в VII веке, но колонны эти были взяты из других храмов доисламских религий, как пишет о том Ибн Хальдун[261]: „Государства, основанные кочевниками, нуждаются в притоке чужестранцев для всевозможных строительных работ“».

Существует ли этот Алеф внутри камня? Видел ли я его, когда видел все — а потом забыл? Память наша подтачивается забвением — я сам, под действием роковой этой эрозии, с годами все больше искажаю и утрачиваю черты Беатрис.

---

[260] Примечания: 260

«Королева фей» *(англ.).*

[261] Примечания: 261

Ибн Хальдун. — Цитируется его трактат «Мукаддима» (II, 232).*(прим. Б. Дубин)*

Послесловие
Перевод В. Правосудова

Кроме «Эммы Цунц» (ее великолепный замысел, намного превосходящий несовершенное исполнение, был подарен мне Сесилией Инхеньерос) и «Истории воина и пленницы», где предпринята попытка объяснить два подлинных случая, новеллы этого сборника являются вымыслами. Из всех новелл наиболее тщательно отделана первая; ее основа — ощущение, какое может вызвать в человеке идея бессмертия. За этим нравоучительным для бессмертных наброском следует «Мертвый»: герой данного рассказа Асеведо Бандейра — уроженец Риверы либо Серро-Ларго и, кроме того, жестокий идол, невежественный мулат — подобие несравненного Воскресенья Честертона. (В XXIX главе «Decline and Fall of the Roman Empire»[262] рассказывается о человеке с почти такой же судьбой, как у Оталоры, но более величественной и невероятной.) О «Богословах» скажу только, что это

---

[262] Примечания: 262
«Упадок и разрушение Римской империи» *(англ.).*

сновидение, довольно грустное сновидение, по поводу тождества человеческого; о «Биографии Тадео Исидоро Круса», что это одна из вариаций «Мартина Фьерро». Картине Уотса, созданной в 1896 году, я обязан «Домом Астерия» и описанием внешности несчастного главного героя. «Вторая смерть» — фантазия на тему времени, созданная мной после чтения Петра Дамиани. В годы последней войны, вероятно, никто более, чем я, не желал поражения Германии; никто более, чем я, не ощущал трагизма немецкой нации; «Deutsches Requiem»[263] стремится осознать эту судьбу, ее не сумели ни оплакать, ни даже обозначить наши «германофилы», которые знать ничего не знают о Германии. «Письмена Бога» — цепочка рассуждений; ягуар заставил меня вложить в уста «мага пирамиды Кахолома» доводы каббалиста или теолога. В «Заире» и в «Алефе», полагаю, заметно некоторое влияние рассказа «The Cristal Egg»[264] (1899) Уэллса.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 3 мая 1949 г.

Постскриптум 1952 года. При переиздании

---

[263] Примечания: 263
«Немецкий реквием» *(нем.).*

[264] Примечания: 264
«Хрустальное яйцо» *(англ.).*

сборника включаю в него еще четыре новеллы. «Абенхакан эль-Бохари, погибший в своем лабиринте», несмотря на свое громоздкое название, не остается (уверяют меня) в памяти. Эту новеллу можно считать вариацией на тему «Двух царей и двух их лабиринтов», включенных переписчиками в «Тысячу и одну ночь» и исключенных благоразумным Галланом. Об «Ожидании» скажу, что эта новелла появилась на свет благодаря одному полицейскому сообщению — его прочитал мне Альфредо Доблас лет десять назад, когда мы с ним классифицировали книги согласно руководству Брюссельского библиографического института; из этого пособия я не помню ничего, кроме того, что число 231 соответствовало Богу. Главным героем полицейского сообщения был турок; я сделал его итальянцем — так мне было легче его прочувствовать. На улице Парана в Буэнос-Айресе я часто и мельком видел один стоящий в глубине дом — он натолкнул меня на мысль написать историю, которая называется «Человек на пороге»; я перенес ее в Индию для того, чтобы неправдоподобие истории стало более приемлемым для читателя.

Х. Л. Б.